

Анатолий Шигапов

Бумеранг-39



Анатолий Шигапов
Бумеранг-39
Серия «Вне серии», книга 6

<https://litres.ru/73905848>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сварщик Иван Береговой не искал войны. Он варил корабли, воспитывал сына, помогал людям как юрист. Но однажды в фонд «Защитники Отечества» пришла женщина в чёрном платке. Её сын пропал без вести. А на диване остался узелок с дедовским крестом.

Иван идёт на войну не воевать - искать. Искать Алексея Шевцова, которого мать ждёт в Гусеве и не знает, жив ли он. Искать правду в том месте, где правду не пишут в сводках. Искать человечность - там, где, кажется, её не осталось.

«Ещё никто не договорился с бумерангом. Он всегда возвращается» - эту истину Иван проверит на себе. Потеряет друзей, вытащит из-под пуль раненых, спасёт чужого солдата. И встретит предков, которые отводили пули невидимыми руками.

Роман о том, что добро не пропадает бесследно. О кресте, вернувшемся к хозяину. О вере и правде, которая сильнее смерти.

Анатолий Шигапов

Бумеранг-39

Предисловие

Вы держите в руках книгу, которая начиналась с одного телефонного звонка.

Зимой 2024 года мне позвонила знакомая - волонтер из калининградского фонда помощи ветеранам. Она рассказала о женщине, которая пришла к ним в фонд несколько месяцев назад. Женщина искала сына. Мобилизованного, пропавшего без вести. Она оставила на диване маленький узелок, а в нём - старый нательный крест. Дедовский, ещё с войны. И ушла, так и не дождавшись ответа.

Женщина иногда звонит - спрашивает, не появилось ли каких-то новостей. Сын до сих пор в списках пропавших без вести.

Я не знаю, найдётся ли он когда-нибудь. Но история её ожидания и надежды, образ этого креста, проделавшего путь через века и войны, - заставили меня сесть за эту книгу.

«Бумеранг 39» - название неслучайное. 39 - регион Калининградской области, откуда начинается путь главного героя. И цифра, совпавшая с количеством глав, стала для меня маленьким знаком: всё в этой истории закольцовано, всё возвращается на круги своя.

Это книга не о политике. Не о «правильной стороне». О

солдатах. О тех, кто ушёл и не вернулся. О тех, кто ждал и не дождался. И о тех, кто, вопреки всему, продолжал верить и искать.

Иван Береговой - собирательный образ. В нём есть черты реальных людей: сварщиков с «Янтаря», юристов, добровольцев, которых я встречал. Его предки - дед с ППШ и воин в кольчуге - это память о том, что война на этой земле никогда не заканчивается. Она тлеет под слоями глины и чернозёма, и каждое новое поколение вынуждено её тушить.

Крест в этой истории - не амулет. Не фетиш. Это - связь. Нить, которая не рвётся даже под пулями. Человек, который берёт чужой крест, берёт на себя чужую судьбу. А потом - отдаёт. Или не отдаёт, если не находит хозяина.

Я не хотел писать «легко». Эта книга - про грязь, кровь, усталость, про то, как пахнет порох и как стонет земля, когда по ней идут танки. Но ещё - про свет в конце тоннеля. Про «бумеранг», который всегда возвращается. Про добро, которое не пропадает бесследно, даже когда кажется, что вокруг одна тьма.

Спасибо тем, кто прочитает эту книгу до конца.

Особая благодарность - волонтерам, врачам, священникам, которые вытаскивают с того света и не дают сойти с ума. И конечно, матерям - ждущим, верящим, молящимся.

Тем, кто на разных уровнях власти принимал мучительные решения. Кто не спал ночами, подписывая указы о выплатах семьям пленных, о статусе ветеранов для доброволь-

цев, о льготной ипотеке для вернувшихся. Кто настоял на упрощении процедуры признания без вести пропавших - чтобы мать не ждала годами, а могла хотя бы знать, что сын жив, или получить право хоронить. Кто не дал закрыть полевые госпитали под видом «оптимизации». Кто ездил в прифронтовые города, видел разрушенные больницы и школы своими глазами - и возвращался в кабинеты переписывать инструкции. Кто слушал и слышал.

Их немного. Но они есть.

Я благодарен каждому, кто в этой огромной системе остался человеком. Кто в три часа ночи подписывал бумагу, от которой зависела жизнь. Кто искал лазейки в законах, чтобы включить в список на обмен лишнего человека. Кто не прятался за отписками, а говорил: «Я попробую. Ничего не обещаю, но попробую».

Тем, кто на местах. Сотрудникам военных комиссариатов, которые работают с утра до ночи, выслушивая сотни историй, подписывая похоронки, выдавая направления. На них часто жалуются - но попробуйте сами просидеть в очереди день, отвечать на одни и те же вопросы, отказывать, когда ничем не можешь помочь, и не сломаться. Я видел капитана Петренко - его глаза отражали всех, кого он не смог спасти. И он продолжал работать.

Тем, кто в госпиталях. Врачам, оперирующим под обстрелами. Медсёстрам, моющим гнойные раны и не морщащимся. Санитарам, вытаскивающим тяжелораненых из пекла. Вы

- ангелы в грязных халатах. Рабочих рук не хватает, вы работаете на износ - и всё равно не бросаете ни одного, пока дышит.

Тем, кто на передовой и в тылу. Священникам, которые едут на фронт без бронезилета, с одним крестом. Волонтерам, которые под пулями возят гуманитарку и ищут пропавших по базам данных. Учителям, которые учат детей солдат, пока сами солдаты на войне. Социальным работникам, которые оформляют документы, чтобы чья-то бабушка не умерла с голоду. Почтальонам, которые несут похоронки и не падают в обморок.

И - тем, кто принимал решения на самом верху. Не громких, не ищущих славы. Тем, кто настоял на создании фонда «Защитники Отечества» и других не менее значимых организаций. Кто добился, чтобы обмены пленными не прекращались даже в самые тяжёлые недели. Кто не побоялся взять ответственность за сотни и тысячи судеб. Я не хочу называть имена - потому что важно не имя, а дело. И дело это - спасение людей.

И наконец - спасибо стране. Не нарядному слову «Родина» на плакатах, а той самой земле - от Балтийского моря до Тихого океана, от северных льдов до южных степей, - которая гудит под ногами и не отпускает. Которая помнит каждого: и того, кто пахал её сохой, и того, кто умирал на ней за версту от родного дома, и того, кто вернулся и продолжает жить. Страна - это не чиновники и не законы. Страна - это

мы с вами. И те, кто лежат в ней навечно - от Калининграда до Владивостока.

Пусть бумеранг каждого из нас возвращается добром.

Анатолий Шигапов

ГЛАВА 1. Фонд

I

Иван Береговой родился в Калининграде и помнил немецкие руины - не по рассказам, нет, по собственному детскому зрению. В восьмидесятые, когда он бегал мальчишкой по дворам, ещё кое-где торчали из земли остовы стен с остатками готических стрел, и тёмно-красные клинкерные кирпичи разбирали на хозяйственные постройки. Кирпичи эти помнили век, а то и два, и когда их клали в стену новой советской хрущёвки, они, вздыхали тяжело, по-немецки, хотя никто уже не понимал их вздохов.

Дед Ивана, Фёдор Береговой, попал в Кёнигсберг в сорок пятом - сапёром, разминировал форты. Город тогда лежал в руинах, и сапёрное дело было неблагодарное: мины с хитрыми ловушками, перерезаешь один провод - замыкается другой, и нет тебя. Но Фёдора Бог миловал. Потом остался, женился на местной немке, принявшей советское гражданство, - Эмме Вильгельмовне, работавшей на молокозаводе и всю жизнь стеснявшейся своего акцента. Пошёл работать на судостроительный завод «Янтарь». Отец Ивана тоже там работал - сборщиком корпусов. И сам Иван, окончив Калинин-

градский государственный технический университет, не искал другой судьбы: пришёл на «Янтарь» двадцати двух лет, и вот уже восемнадцатый год варил корабли.

Не то чтобы он не мог большего. Иван был членом Ассоциации юристов России - заочно выучился на юрфаке в Западном филиале Российской академии (РАНХиГС), когда понял, что сварка сваркой, а в жизни пригождается разное. Помогал соседям, потом знакомым, потом уже и фонд «Защитники Отечества» нашёл его сам - нужен был человек, юрист, понимающий и в металле, и в бумагах, и в человеческом горе. Так и жил: день на стапелях, два раза в неделю - в фонде, а иногда и в выходные, если случалась срочная повестка.

Сегодня смена начиналась рано, с семи. Иван пришёл затемно, когда фонари над проходной горели мутным оранжевым светом. Переделся в спецовку: куртка брезентовая, штаны с накладками, ботинки с железными носками. И пошёл к своему месту, в четвёртый стапельный цех.

Корвет, который он сейчас варил, заложили ещё до СВО. Длинное хищное тело будущего корабля лежало на стапелях, как доисторическое чудовище, придавленное к земле собственной тяжестью. Иван любил эту работу - не за творчество, а за то, что металл слушался его рук. Он клал шов так, что рентгеновский контроль проходил с первого раза. Молодые сварщики удивлялись: «Как ты это делаешь, Береговой?» Он пожимал плечами: «Руки помнят».

В двенадцать - перерыв. Он сидел на ящике из-под электродов, пил чай из термоса, жевал бутерброды с сыром, которые мать собрала ему утром. Мать жила в соседнем доме, в хрущёвке на улице Невского. Ей было шестьдесят семь, она бывшая учительница начальных классов, и до сих пор считала, что сорокалетний сын не способен себя прокормить без её бутербродов. Иван не спорил. Пусть.

После перерыва - снова работа до половины седьмого. Сварщик Саша, которого за широченные плечи прозвали Шкафом, спросил:

- Слышал, ты в фонд собрался опять? Там же бабки не платят.

- Не в бабках счастье, - ответил Иван.

- Дурак ты, Береговой, - беззлобно сказал Шкаф и пошёл заваривать новую секцию.

Иван умылся, переоделся, вышел с завода. На проходной тётя Катя, вахтёрша, сказала:

- Иван Фёдорович, мать ваша звонила. Спрашивала, придёте ли ужинать.

- Скажите, что завтра приду. Сегодня поздно.

В фонде его ждали бумаги. Но главное - он знал, что сегодня придёт та женщина. Вчера она звонила, голос - как оборванная струна. Сын пропал без вести. Она хотела поговорить с юристом. Они договорились на вечер.

II

По пути на Комсомольскую он зашёл в магазин - не в су-

пермаркет, а в маленькую «Кант» у автовокзала, где продавщица Люба знала его как облупленного. Купил хлеб, пару пачек пельменей и пол-литра молока. Сын, Александр, иногда оставался у него на выходные, и тогда пельмени шли на ура. Бывшая жена, Ольга, жила в соседнем районе, с новым мужем, который, как говорили, работал в таможне. Иван редко думал о ней - из усталости. Два года брака, потом разбежались, и остался только сын. Пять лет пацану, рыжий, в веснушках, но глаза - отцовские, серые.

Он пришёл ровно в семь. Фонд располагался на первом этаже здания по адресу Комсомольская, 91В. Определить, к какому веку отнести эту постройку, было человеку постороннему не под силу. Архитектура здесь являла собою ту занятную смесь казённого вкуса с откровенной экономией, которая отличает позднюю советскую и постсоветскую общественную застройку: кирпичные стены, широкие окна, низкие подоконники, просторные коридоры, где коляска разъедется легко, и пандусы, ведущие к лифту. Выстроено это здание было в декабре 2006 года на средства областного бюджета как раз для того, чтобы поселить ветеранов Великой Отечественной войны в благоустроенные квартиры и приставить к ним медицинскую и социальную заботу на все оставшиеся годы. И пахло здесь теперь не бумагой и пылью - пахло госпиталем. Хлоркой, йодом, кислым запахом лекарств, пролежней, нашатыря, тем особым больничным духом, который заводится в таких местах быстро, неистребимо

и, кажется, пропитывает собою сами стены.

Секретарша, тётя Зоя - женщина с добрыми морщинами, похожими на трещинки на старой иконе, и привычкой креститься на любой чих - сидела за компьютером, но, увидев Ивана, встала.

- Вас уже ждут, - тихо сказала она и кивнула в сторону общего зала.

III

Женщина сидела у окна, на офисном стуле с продавленным сиденьем, держась прямо, как на экзамене. На коленях - потёртая сумка-авоська, из которой торчал край папки, перевязанной бечёвкой. Когда она повернулась на звук шагов, Иван разглядел её лицо: лет пятидесяти, а может и меньше - но горе состарило её на десяток лет. Лицо бледное, под глазами синие круги, щёки впали, губы обветрены с какими-то мелкими трещинками, как пересохшая земля. Одета просто, почти бедно: тёмная юбка, кофта с длинным рукавом, на плечах чёрный платок, повязанный узлом под подбородком, по-деревенски, по-старушечьи, хотя ей было, вероятно, не больше пятидесяти.

Иван вошёл, поздоровался, сел напротив, за стол. Разложил блокнот - маленький, в клеёнчатой обложке, исписанный и исчёрканный, испещрённый пометками на всех полях, - приготовил ручку.

- Рассказывайте, - сказал он негромко.

Женщина заплакала. Не сразу - сначала всхлипнула, по-

том сжала губы, потом всё-таки не сдержалась. Слезы текли по щекам, она вытирала их кончиком платка, и это было так трудно смотреть, что Иван отвернулся к окну.

- Извините, - прошептала она. - Я сейчас. Я соберусь.

- Не торопитесь, - сказал Иван.

Она собирала себя минуты три. Глубоко дышала, теребила край платка, смотрела в пол, на свои ботинки - старые, разношенные, с засохшей грязью на рантах. Потом подняла глаза.

- Меня зовут Галина Петровна Шевцова. Я из Гусева - маленький городок, бывший немецкий Гумбиннен, у самой границы с Польшей.

Иван кивнул - знал.

- Сын мой, Алексей. Двадцать пять лет. Мобилизовали в октябре прошлого года. На «Автоторе» работал, после университета пришёл, БФУ закончил, инженер-механик. Девушки не было, семьи не завёл. Говорил: «Всё не то, мам, не та». А я и не знаю, что значит «не та».

Она снова заплакала, вытерла слёзы и продолжала, и голос её крепчал с каждым словом.

- Мобилизовали двадцатого октября. Пришла повестка, он собрался за два часа. Я ему - фляжку в дорогу, тёплые носки, нательный крест деда, моего свёкра. Крест старый, ещё с войны. Дед Алексей Иванович его с собой носил, когда Кёнигсберг брали. Семейная реликвия. Лёша надел и ушёл.

Говорила она долго, сбивчиво, то и дело останавливаясь,

чтобы перевести дух, а Иван записывал. Имена, даты, номера, приметы - шрам на брови, родинка на шее. Она излагала - он фиксировал, словно нотариус, составляющий завещание.

- В списки «30+» попадал? - спросил Иван.

- Попадал. Мне сказали: «Ждите, может, в плену». Теперь все советуют: иди в суд, признай сына без вести пропавшим. Подашь заявление, через год признают погибшим, и получишь выплаты. И пенсию по потере кормильца.

Она посмотрела на Ивана в упор, и глаза у неё стали злыми.

- А я эти деньги не хочу. Понимаете? Я хочу сына. Живого. Он мне не кормилец, он мне - кровь. Я одна на свете, только он. И если я соглашусь, что он пропал - значит, я его похоронила. А я не хоронила. Я верю, что он жив.

- Галина Петровна, - сказал Иван осторожно, - я могу проверить по своим каналам. Списки пленных, обменные фонды, госпитали. Долго, без гарантий - но могу. Вам решать, как поступать. Я не юрист в этом разговоре. Я - человек, который поможет, если сможет.

Она выдохнула, разжала пальцы, вцепившиеся в сумку. Поблагодарила. Стала собираться.

У порога замешкалась, хотела что-то сказать, но не сказала. И вышла так же тихо, как вошла.

Уже закрывая дверь, обернулась на миг, и Иван заметил - она перекрестилась. Широко, по-старообрядчески, всем телом. Благословила его на дорогу, ещё не зная, что дорога эта

поведёт не в суд и не в военкомат - на войну.

IV

Иван остался один. Собрал бумаги в папку: копии писем, выписки из военкомата, фотографию Алексея - молодой человек с открытым лицом, в очках, куртка-косуха, на заднем плане заводской цех. И уже хотел уходить, как заметил на диване, в углу, что-то серое.

Маленький узелок из грубой ткани. Галина Петровна, уходя, прижала его к боку - и забыла. Или не забыла. Иван не был в этом уверен.

Он взял узелок в руки, развязал нитку - на ладонь выпал нательный крест.

Старый. Тёмный, почти чёрный, с вытертыми краями. Серебро, но видно, что кованое, ручной работы, грубоватой, древней. С лицевой стороны ещё угадывалось распятие, а обратная была гладкая, без надписей, только время прописало на ней рябь - мелкую, частую, как морской песок после отлива. Серебро потемнело, почернело почти, и лишь кое-где, на выступах, проступал тусклый, болотный отблеск - не столько блеск металла, сколько слабое, вековое тление. Кто-то долго держал его в руках, сжимал до хруста, молился - и всё никак не мог вымолить прощения, всё не за что было. Много молитв, много пота и много горя впитало это тёмное серебро, покрылось им, как ржавчиной, только та ржавчина была не от времени - от людского страдания.

Иван хотел положить крест в сейф, до следующего при-

хода Галины Петровны, но прежде - без отчёта, без мысли, просто так, машинально - провёл по нему большим пальцем, ощущая холод металла.

Холод не пришёл.

Вместо него - тепло. Не горячее, не обжигающее, а глубинное, идущее из недр, из тех самых глубин, где лежат руины Кёнигсберга, сапёрные лопатки деда Фёдора и нательные кресты трёх поколений, перемешанные с костями древних пруссов, - всё, что когда-то жило, дышало, верило, надеялось, умирало и не перестало жить, даже рассыпавшись в прах.

Тепло разлилось от пальцев к запястью, от запястья - к локтю, от локтя - к груди. И в груди, где-то в солнечном сплетении, у Ивана вдруг зажглась маленькая, несомненная лампада. Не горела она - знала.

Иван закрыл глаза. Не хотел - но веки налились свинцом, и он увидел сначала тьму: густую, влажную, пахнущую сырой землёй, бетонной пылью и чем-то кислым, как старый бинт. Потом звук: капли воды, падающие с потолка в лужу. Раз-два, раз-два. Потом дыхание: тяжёлое, прерывистое, у человека, которому пересохло в горле, у которого сломаны рёбра.

Он не видел лица, только силуэт - скорченный в углу на бетоне. Человек в грязной форме, без оружия, с руками, перемотанными бинтами. Молодой. Двадцать пять. Шрам на брови. Родинка на шее.

Алексей.

Жив. Страдает. В темноте. Но дышит.

Позади него стояли двое. Один - в телогрейке, с ППШ за спиной, с чёрными от копоти руками. Другой - в кольчуге, с мечом, опущенным в землю, в шлеме, из которого не видно лица. Они смотрели на Ивана. Не на раненого - на него. И в их взгляде не было вопроса. Был приказ.

Иван открыл глаза. Зябко было в комнате, батареи работали, но зябко. Он вытер лоб - пот, холодный пот. Крест лежал на ладони, тёмный и тихий. Иван взял его, сжал в кулаке, и тепло вернулось - ровное, уверенное.

«Жив, - понял он. - И я его найду».

Он завернул крест в платок, положил во внутренний карман куртки, туда же, где лежал паспорт - там было самое надёжное место, у сердца.

И вышел на Комсомольскую.

Ночь стояла холодная, октябрьская, с крупными звёздами. Где-то за домами гудели машины на Московском проспекте, и земля под подошвами - бетон тротуара, асфальт, а под ними древняя, спрессованная толща - чуть заметно, едва ощутимо гудела. Не предупреждая. Соглашаясь.

Иван пошёл домой - к пельменям, к холодному чайнику, к пустой квартире. Но крест в кармане грел, и это было важнее чужого очага. Он знал, что найдёт того парня. Не потому, что был героем. А потому что металл, однажды взявший тепло от его руки, не отпускал. Корабль, заложенный на стапелях, выходит в море. Человек, за которого молилась мать и грел

крест, - возвращается.

Так было. Так будет. Иначе зачем тогда всё это?

ГЛАВА 2. Прощание

I

Военкомат на Озёрной улице, 29, Иван знал с детства - знал с тех самых пор, когда отец водил его за руку, объясняя, что каждый мужчина должен когда-то прийти в это здание, чтобы его поставили на учёт, словно на учёт ставили не людей, а мешки с зерном или ящики с патронами. Здание было ещё немецкой постройки - бывшая кёнигсбергская школа, или казарма, или что-то в этом роде, сложенная из тёмно-красного клинкерного кирпича, такого прочного, что его не брала ни копоть войны, ни сырость послевоенных лет, ни даже советская штукатурка, которой его, впрочем, пытались облагородить. Кирпич этот словно бы хранил в себе память о Гумбиннене и Гинденбурге, о том, как маршировали по этим дворам солдаты в касках с острыми шишаками, как плакали дети, эвакуированные в Восточную Пруссию, как рушился мир, который казался вечным.

При Советском Союзе здание основательно перестроили: пристроили крыльцо с колоннами, которые выглядели так, будто их выпилили из пенопласта и покрасили в белый цвет, навесили табличку с гербом и замазали штукатуркой немецкие розетки на потолках. Но немецкая основа угадывалась в каждом углу - в толщине стен, которые не пробил бы ника-

кой таран, в крутизне лестниц, сработанных на совесть, чтобы по ним не скользил нога, в том, как звук шагов разлетался по коридору долгим, пустым эхом, будто здесь ходили не живые люди, а тени, оставшиеся с сорок пятого.

Иван поднимался по этим лестницам ещё мальчишкой - его впервые привели сюда на постановку на учёт в конце восьмидесятых, когда страна ещё называлась Советским Союзом, а в газетах писали о перестройке и ускорении. И тогда, в детстве, ему казалось, что здание помнит больше, чем люди. Помнит голоса, которые уже никто не услышит, помнит шаги, которые уже никто не повторит, помнит приказы, отданные на двух языках, и то, как их исполняли, мороз по коже.

Теперь внутри пахло казённым, кислым - дешёвым табаком, которым затягивались перепуганные призывники, мастикой для пола, которой пытались придать блеск этой казённой тоске, и человеческой тревогой - беспредметной, липкой, как смола. Запах тревоги Иван знал хорошо: в фонде на Комсомольской он витал постоянно, особенно по вечерам, когда расходились женщины с покрасневшими глазами и мужчины, которым только что сказали, что их сын - в списках на обмен, или, наоборот, что его нет ни в каких списках, и неизвестно, где он, и неизвестно, жив ли.

Иван пришёл к открытию, в девять утра. Осеннее солнце только начинало подниматься над крышами, бледное, жидкое, не греющее, и ложилось на ступеньки военкомата косы-

ми, длинными тенями. В коридоре уже толпились - кто по мобилизационной повестке, кто добровольцем, кто за справкой для начальства, чтобы отмазаться от отправки на месяц-другой. Парни в спортивных кофтах, вытянувшихся на коленях, мужики в потрёпанных куртках, один в костюме и при галстуке, с «дипломатом» в руке, из которого, наверное, так и не достал трудовую книжку, чтобы написать заявление по собственному. Всё это человеческое море колыхалось в тесном коридоре, издавало невнятный гул, в котором смешивались голоса, кашель, шарканье подошв и плач - тихий, почти беззвучный, но от того ещё более страшный.

Иван встал в очередь к окошку, где на табличке было выведено казёнными буквами: «Отбор добровольцев». Ждал долго - час, а может, и два, время здесь тянулось особенно, вязко, как патока зимой. Какая-то женщина прорыдала у окошка полчаса, билась в истерике, хватала офицера за рукав, просила отсрочить мужа - третьего ребёнка ждём, слышите? третьего! Ей отказали. Она вышла белая, как бумага, и никто не подошёл к ней, не взял за руку, не сказал ни слова, потому что у каждого здесь своя боль, своя потеря, свои неотвеченные вопросы.

Ивана пропустили без очереди - как юриста фонда, свои люди, свои волки, которых в этой военкоматовской стае узнавали по запаху. Капитан Петренко, начальник отделения, высокий, худой, с вечно уставшими глазами, в которых, отражались все похоронки, подписанные им за последний

год, развернул перед Иваном папку - тонкую, скудную, с минимумом бумаг, потому что у добровольцев и бумаг бывает меньше, чем у мобилизованных.

- Береговой, - сказал он, листая. - Семьдесят восьмой год рождения. Член Ассоциации юристов, работа на «Янтаре». Служба?

- Не служил, - ответил Иван, и голос его прозвучал вино-вато, хотя вины он за собой не чувствовал. - Учился. После школы - техникум, потом университет. Отсрочки, потом уже возраст.

- Понятно, - Петренко кивнул, делая пометку в компью-тере, и Иван увидел, как его пальцы, длинные, костлявые, с пожелтевшими от никотина ногтями, бегут по клавишам. - Военно-учётная специальность? Кафедра была?

- Была. Связист.

- Ну, хоть что-то, - капитан даже позволил себе слабое по-добие улыбки, но улыбка эта тотчас угасла, как спичка на ветру. Он подвинул бланки - синие, казённые, с гербами и печатями. - Доброволец? Сам идёшь? Зачем? - И он поднял глаза, уставился на Ивана с тем особенным выражением, ко-торое бывает у людей, привыкших слышать ложь и различать правду.

Иван не знал, как ответить. Не говорить же про крест, про ту женщину в чёрном платке, про видение, в котором яви-лись предки и приказали идти. Не говорить же о том, как металл на ладони стал тёплым, а потом горячим, а потом -

словно живым. Он сказал только одно слово, короткое, рубленое, как приказ:

- Должен.

Петренко помолчал, щурясь поверх очков. И, как показалось Ивану, что-то понял. Кивнул, не то себе, не то Ивану, и продолжил:

- Подпиши здесь, здесь и здесь. Медицинская комиссия на первом этаже. Психолог - кабинет сорок пять. Потом заявку оформлю, передам в пункт отбора. Послезавтра отправка в учебный центр под Ростовом. Сбор на стадионе «Калининград», в семь утра. Вещей - не больше вещмешка. Оружие выдадут на месте. Вопросы?

- Нет, - сказал Иван, и в этом «нет» было всё: и принятие судьбы, и отказ от страха, и согласие на то, что могло случиться.

Он подписал. Рука не дрожала - она, привыкшая к державке сварки, не дрожала даже под самым опасным напряжением. Но когда ставил последнюю подпись, крест в нагрудном кармане - он так и не снял его, завернутым в серый платок, - вдруг потеплел. Чуть-чуть, на градус, на тот самый неуловимый градус, который невозможно измерить термометром, но можно почувствовать телом, душой, самой своей сердцевиной. Иван ощутил это рёбрами, позвоночником, кончиками пальцев, сжимавших ручку, и подумал: «Значит, верно иду». И перекрестился - украдкой, в кабинете начальника отделения, под взглядом капитана Петренко, который сделал вид,

что ничего не заметил, хотя заметил, конечно.

II

Мать жила в соседнем доме, на Невского, в хрущёвке с обшарпанным подъездом, где на стенах ещё сохранились следы от объявлений «Сдам комнату» и «Потерялась кошка», и запахом кислой капусты из общей кухни, который, въелся в эти стены намертво, как смола в сосновую кору. Иван не предупредил, что придёт, - просто поднялся на третий этаж, тяжело, со стуком, потому что ноги не слушались, и позвонил. Открыла быстро, будто ждала, будто стояла за дверью и слушала, когда же он поднимется.

Тамара Ивановна, шестьдесят семь лет, маленькая, сухонькая, с вечно красными от стирки и готовки руками, в фартуке, который она носила не потому, что собиралась готовить, а потому, что снимать его было выше её сил. От неё пахло пирогами - теми самыми, с капустой, которые она пекла по субботам, и средством от тараканов, которое держала на холодильнике в синей коробочке.

- Иван? - она моргнула, близоруко сощурилась, пытаясь разглядеть сына в полумраке прихожей. - Ты рано. Смена кончилась?

- Мам, зайду на минуту.

Он прошёл в комнату - ту самую, где всё оставалось по-старому, как в детстве, как в юности, как в те годы, когда отец был жив и они сидели по вечерам у телевизора, смотрели «Время» и пили чай с вареньем. Сервант с хрусталём - Ре-

вельским, ещё старым, бабушкиным, который никто никогда не доставал, фикус на подоконнике, вытянувшийся вверх, словно пытался убежать отсюда, и вышивка на стене: «Наш дом - наша крепость». Отец на этой вышивке смотрел с фотографии - молодой, в тельняшке, с улыбкой до ушей, такой открытой, что хотелось улыбнуться в ответ. Умер пять лет назад. Сердце. Остановилось в очереди в поликлинике, куда пошёл за справкой для Ирины - справкой, которая уже была не нужна, потому что Ирина ушла раньше, чем он успел её принести. Так и осталась справка лежать в папке, не востребовавшая, ненужная, как и он сам, наверное.

Тамара Ивановна суетилась на кухне, грела чайник, грела кружками. Иван слышал, как она шаркает тапками по линолеуму, как что-то шепчет - может быть, молитву, может быть, просто приговаривает, чтобы успокоиться.

- Ты голодный? - крикнула она, не выходя из кухни. - Я драников нажарила, сметана в холодильнике. Подогреть?

- Мам, сядь. Пожалуйста.

Она обернулась, вышла из кухни, держа в руке полотенце, и посмотрела на сына. Посмотрела так, как смотрят матери, когда знают правду раньше, чем она сказана, - знают её, как знают, что завтра наступит утро, что вода мокрая, что ночь темна. И лицо её изменилось - стало не по годам старым, испуганным, таким, каким Иван не видел его даже на похоронах отца.

- Я добровольцем пошёл, - сказал Иван, и каждое слово

давалось ему с трудом, как будто он вытаскивал их из самого себя, из той глубины, где никто не бывал. - Послезавтра отправка.

Она не заплакала. Не закричала. Не упала на колени и не стала биться головой о стены, как делали другие матери в военкомате. Она только опустилась на табуретку - медленно, как подрубленная, как дерево, которое пилили долго и наконец допилили. И долго сидела молча, глядя в пол, на линолеум в цветочек, который она сама стелила десять лет назад, когда Иван привёз его из командировки - тогда ещё гражданской, до войны.

Потом подняла глаза.

- Зачем? - спросила шёпотом. Губы её двигались, но звук, шёл не из горла, а из самой глубины, из того места, где хранится всё невыплаканное, невыговоренное, непростительное.

- Надо, мам.

- Кому надо? Там и без тебя... - она махнула рукой куда-то в сторону востока, туда, где была война, которую она не видела, но чувствовала каждой своей клеткой, каждым ночным кошмаром, каждым звонком в дверь, который заставлял сердце падать. - У тебя сын! Пять лет! Саша! Он без отца, что ли, должен? Сиротой?

- Вернись, - сказал Иван, и в голосе его прозвучала сталь, которой он сам от себя не ожидал.

- А если нет? - голос матери стал острым, как нож, как лезвие, которое режет не по живому - по мёртвому, по тому,

что уже не болит. - Если нет?

Иван не ответил. Вынул из кармана серый платок, развернул его - медленно, торжественно, как разворачивают знамя на параде. На ладони лежал тёмный крест. Старый, древний, почерневший от времени, с вытертыми краями и смутным распятием, которое, смотрело на неё своим невидящим, но всё понимающим ликом.

Тамара Ивановна посмотрела на крест, перекрестилась машинально - широко, по-старообрядчески, всем телом, как учила её бабка-староверка, которую соседи называли «юридивой» и боялись, потому что она знала то, чего знать не могла.

- Что это? - спросила она, хотя уже догадывалась.

- Женщина одна оставила в фонде. Сын у неё пропал. Без вести. Мобилизовали, а потом - тишина. Вот, крест её. Дедовский, ещё с войны.

- И ты... что? - Мать наклонилась ближе, разглядывая крест, но не касаясь его, будто боялась обжечься.

- Нашёл его, - сказал Иван и коснулся груди. - Внутри. Это не объяснить, мам, словами не рассказать. Но он жив. И я его найду, - пообещал он, и в голосе его прозвучала та самая клятва, которую дают перед иконой, перед боем, перед лицом смерти, - я его найду. А для этого мне туда надо.

Мать долго молчала. Смотрела на него, на крест, на его грудь, где под рубашкой, наверное, уже грел тот самый чулок, но ставший родным металл. Потом встала - тяжело,

опираясь на край стола, будто встала не женщина, а сама старость, сама беда. Молча поставила чайник на плиту, молча достала из шкафа старый армейский вещмешок - отцовский, ещё девяностых годов, с выцветшими швами и запахом махорки, которую курил отец, уходя на заработки. И начала собирать. Носки шерстяные, две пары - вязаные, её руки, с орнаментом, который она помнила наизусть. Термос - старый, советский, с отбитой эмалью, но работающий, как часы. Сухой паёк - галеты, тушёнка, сгущёнка, всё, что лежало в стратегическом запасе, который она берегла для чёрного дня. Маленькое Евангелие, которое бабушка ей подарила на крещение, - потрёпанное, с закладками на важных страницах. Образок Николая Угодника - на синей ленточке, в жестяном окладе.

- Мам, это многовато, - сказал Иван, глядя, как вещмешок набухает, как завязки уже не сходятся.

- Молчи, - ответила она, не оборачиваясь, и голос её был глухим, каменным, таким, что не возразишь. - Умрёшь - я тебя прокляну. Слышишь? Не оправдаю, не помяну, прокляну. Вернись.

Она говорила сухо, деловито, перечисляя, как наставления для дальней дороги, но Иван видел, как дрожат её пальцы, когда она завязывала мешок, и как уголки губ опускаются вниз, и как одинокая слеза, первая и последняя, катится по щеке, останавливается в морщине и застывает, не смея упасть.

Он обнял её - маленькую, костлявую, пахнущую пирогами и мылом, такую хрупкую, такую сильную, такую чужую и такую родную, что у него перехватило дыхание. Она всхлипнула один раз - коротко, по-щенячьи, - и замерла, прижалась к нему, как девочка, которой страшно, как ребёнок, который потерялся и только что нашёл своё убежище.

- Мам, - сказал он, когда отпустил её. - Ты позвони этой женщине, Галине Петровне из Гусева. Скажи, что крест у меня, что я его ищу. И пусть она молится. Я знаю, что она молится и так, я чувствую, но попроси. Ещё раз попроси.

Тамара Ивановна отстранилась, вытерла глаза передником, прижатым к лицу, чтобы он не видел её слёз, хотя видел всё равно.

- Ты с крестом каким-то связался, - сказала она не то осуждающе, не то понимающе. - Чужим. Не своим. Бог его знает, что он за собой тянет.

- Значит, надо, - ответил Иван, и крест под рубашкой снова потеплел, коротко, ободряюще.

Она не спорила больше. Только перекрестила его широким старым крестом, как в детстве перед школой, и сказала:

- Иди. Война, она не ждёт. Но вернись. Слышишь? Вернись.

III

Новый муж Ольги работал в таможене - по крайней мере, все в их доме на Ленинском проспекте знали, что он «таможенник», и перешёптывались за спиной, потому что тамо-

женник - это власть, это деньги, это связи, и никто не знает, как подойти к такому человеку, чтобы не оскорбить, не нарваться, не попасть в чёрный список. Квартира на пятом этаже новой панельной высотки была обставлена с той старательной, но безвкусной роскошью, которая выдает людей, недавно вышедших из хрущёвок и пытающихся доказать себе и миру, что они теперь - люди. Кондиционер на фасаде, пластиковые окна, домофон, который жалобно пищал, когда набирали код. Всё новое, всё блестящее, всё пахнущее китайским пластиком и дешёвым освежителем воздуха.

Иван набрал код, который Ольга дала ему когда-то, на случай, если Саша заболеет и нужна будет срочная помощь. Код не сменили. Или забыли, или не захотели - Иван не знал. Ольга открыла без вопросов, видимо, увидела его через камеру домофона, узнала по лицу, по походке, по той особой сутулости, которая появляется у сварщиков после двадцати лет работы.

Она встретила его на площадке. Худощавая, с короткой стрижкой, под которой уже угадывалась седина - рановато, в тридцать пять лет, но война сидит не только солдат, сидит и их жён, и их матерей, и их любовниц, которые остались дома и ждут. Без косметики, в джинсах и растянутом свитере, который она, наверное, носила дома, не выходя на люди. Глаза настороженные, как у зверька, который чует опасность, но не может определить, откуда она идёт.

За её спиной маячил муж - высокий, бритый на лысо, с

цепким таможенным взглядом, который, сканировал каждого на предмет контрабанды. Он кивнул Ивану, не подавая руки, и ушёл на кухню, плотно притворив дверь, оставив их одних - бывших мужа и жену, которые когда-то любили друг друга, а теперь стояли в коридоре, как чужие.

- Заходи, - сказала Ольга. - Только тихо. Саша спит.

- Днём? - удивился Иван, потому что Саша никогда не спал днём, даже в детском саду его укладывали с боем.

- Не спал ночью. Зубы резались. Доктор сказал - прорезывание. Знаешь, что это такое? - И она горько усмехнулась. - Это когда ребёнок орёт всю ночь, а ты сидишь и не знаешь, чем помочь. И никто не знает.

Иван прошёл в маленькую детскую - комнату, которую они когда-то оборудовали вместе, выбирая обои с медвежатами и ковёр на пол, чтобы не холодно было. Всё осталось по-прежнему: ковёр, легио в углу, плакат с буквами на стене. Сын лежал поперёк кровати, раскинув руки и ноги, сжав в пухлом кулачке пластмассового солдатика - того самого, который Иван купил ему на день рождения, когда Саше исполнилось четыре. Рыжий, как мать, с веснушками на носу, с пухлыми губами, которые оттопыривались во сне. Пять лет.

Иван присел на корточки, положил локти на край кровати, долго смотрел на него. Смотрел, как двигаются глазные яблоки под тонкими веками, как вздымается грудь, как шевелятся пальцы, когда снятся какие-то свои, детские сны, в которых, наверное, нет ни войны, ни похоронок, ни пуль, сви-

стоящих над головой. Потрогал волосы - мягкие, тёплые, пахнувшие детским шампунем, тем самым, «без слёз», который они купали в «Детском мире». Саша не проснулся, только шмыгнул носом и поджал ноги, подтянул колени к животу, как делал всегда, когда замерзал или ему снилось что-то тревожное.

- Ты к нему ненадолго? - спросила Ольга из двери, и голос её был не громче шёпота.

- Я пришёл проститься, - сказал Иван, не оборачиваясь, потому что знал: если он сейчас повернётся и увидит её лицо, то, может быть, не скажет того, что должен сказать.

Она молчала. Он вышел из детской, прикрыл дверь, оставив щёлку для воздуха - на случай, если Саша проснётся и испугается темноты. Они стояли в коридоре - не близко, не далеко, как чужие люди на остановке, которые ждут один автобус, но не знают, сядут ли вместе.

- Я добровольцем уйду, - сказал он. - Послезавтра.

Она не удивилась. Только сцепила пальцы в замок так, что костяшки побелели, и на них выступили синие, полупрозрачные жилы.

- Надолго? - спросила она, и голос её был ровным, будто речь шла о командировке в соседний город.

- Не знаю. Может, насовсем.

- Не смей, - сказала она, и в голосе её наконец появилась сталь, та самая, которая делала её Ольгой, той самой, которую он полюбил когда-то за эту сталь. - Ты мне не нужен,

слышишь? Ты мне не муж, не друг, не попутчик. Но сыну ты нужен. Ему. Слышишь? Не смей там умирать, не имеешь права.

- Я вернусь, - сказал Иван, и слова эти звучали так же пусто, как и все обещания, которые мужчины давали женщинам перед дальней дорогой.

- Все так говорят, - она отвернулась к стене, к вешалке, на которой висели три куртки - её, мужа и маленькая, красная, Сашина, - и Иван увидел, как дрожит её затылок, по которому стрижка шла неровными прядями, как будто она стриглась сама, перед зеркалом, без парикмахера. - Ты можешь иногда Саше звонить? - спросила она, не оборачиваясь. - Хотя бы раз в неделю. Он скучает. Я не разрешаю ему скучать, но он скучает. Сидит у окна, смотрит на дорогу. Думает, ты придёшь. А ты не приходишь.

- Позвоню, - пообещал Иван, хотя не знал, сможет ли, не знал, где будет, не знал, будет ли у него телефон, будет ли связь, будет ли он вообще жив. - Когда смогу.

Она кивнула, всё ещё не глядя на него. Потом достала из кармана джинсов сложенную бумажку - маленькую, замусоленную, с выцветшими красками. Иконка. Николай Угодник на одной стороне, молитва на другой.

- На, - сказала она и сунула бумажку ему в руку. - Мать попросила передать, если увижу. Твоя мать. Она, знаешь, на вас обоих с ума сошла. Говорит: «Пусть возьмёт, пусть хранит. Он ему нужнее, чем мне».

Иван взял иконку, положил в нагрудный карман, туда же, где лежали паспорт, крест и надежда, которую он не подписывал, но носил с собой.

- Спасибо, - сказал он.

- Не за что. - Она быстро, по-птичьи, клюнула его в щёку, и от неё пахло тем же шампунем, что и от Саши, - детским, «без слёз», хотя слёзы текли по её лицу, текли и падали на пол, на линолеум, который блестел под лампой. - Иди. Он проснётся - скажу, что папа приезжал. А что ещё сказать - не знаю.

Иван вышел на лестницу. Дверь за ним закрылась с лязгом, с щелчком замка, с тем особым звуком, который бывает, когда закрывается не дверь, а целая жизнь. Из-за двери слышался плач - Саша проснулся и звал маму. Голос тоненький, жалобный, такой, что сердце разрывается. Иван прижался лбом к холодной стене, к серому, шершавому бетону, и постоял так минуту, не дыша. Потом спустился вниз, вышел во двор. Взял было сигарету из пачки, лежавшей на лавочке, - чужую, забытую, - но не закурил. Не курил он. Только постоял, глядя на серое, низкое небо, от которого хотелось плакать, и крест в кармане снова стал тёплым - живым, ободряющим.

IV

Ночь перед отправкой Иван провёл в своей однокомнатной квартире на улице Горького - в квартире, которую выменял когда-то после развода, доплатив «Янтарём» за выслугу

лет. Двадцать восемь квадратов, не больше, но свои, не съёмные, не казённые - свои. Стены голые, потому что на поклейку обоев не было ни времени, ни желания, мебель простая: кровать, стол, стул, старый телевизор, который не включался уже год, и на подоконнике - герань, за которой мать заставляла ухаживать, потому что цветы, по её мнению, очищают ауру, и без цветов в доме - не дом, а проходной двор.

Иван полил герань из кружки, подумал: «Завянет - мать убьёт. Может, попросить Ольгу забирать? Не попросишь». И вытер руки о тряпку, которая висела на батарее.

Он достал вещмешок, который собрала мать, и переложил всё по-своему: убрал галеты - лишний вес, добавил два запасных шнурка для ботинок, мультитул, который всегда лежал в тумбочке «на всякий случай», и фонарик - маленький, светодиодный, купленный когда-то для рыбалки, на которую он так и не собрался.

Крест всё ещё лежал в нагрудном кармане куртки, но Иван перед сном решил надеть его на шею. Не в кармане, не за пазухой - на шею, к телу, к сердцу. Он распустил серый платок, достал тёмное серебро. Верёвочки не было - только суровая нитка, которой крест был привязан к ткани. Иван порылся в ящике, нашёл чёрный шнурок - от старых часов, которые давно не работали, - продёрнул его, завязал узлы, крепко, надёжно, как учил дед: два узла, и третий, контрольный, чтобы не развязался.

Металл коснулся груди - и Ивана обдало не теплом, нет,

не теплом, а жаром. Коротким, сильным, как удар электрического разряда, - и сразу отпустило, оставив после себя ровное, спокойное тепло, которое разливалось от груди по всему телу, до самых кончиков пальцев. Он посмотрел в зеркало: крест висел поверх тельняшки - чёрный, древний, почерневший, как будто его откопали в древнем кургане, в том самом, где спят прусские короли и русские витязи, перемешавшись костями. Иван сунул его под ткань, к самому телу - пусть греет, пусть хранит.

И лёг спать.

Спал плохо. Видел землю - не сон, а так, полусон-полуявь, когда закрываешь глаза и видишь не чёрную пустоту, а картины, которые не подвластны ни времени, ни рассудку. Земля гудела - тёмная, маслянистая, пахнувшая порохом и дождём, как та земля, что впереди, под Ростовом, под Луганском, под Кременной. По ней шли солдаты - сначала в телогрейках, с ППШ за спиной, потом в кольчугах, с мечами, опущенными к земле, потом просто тени, неразличимые, но узнаваемые, потому что каждая тень была чья-то, каждая - чей-то отец, чей-то дед, чей-то прадед, который тоже когда-то уходил на войну и не всегда возвращался.

Они не смотрели на Ивана, но он знал: они его ведут.

Утром он умылся ледяной водой из крана - той самой, калининградской, с привкусом железа и хлора, - почистил зубы, выпил кружку чая с сухарём, заваривая его в кружке с трещиной, которую всё никак не выбрасывал. Сел на кро-

вати, обулся - берцы, новые, натирающие, но разношенные за два дня по квартире, чтобы нога привыкла. Вещмешок за плечи. Крест под рубашкой - и уже не давит, не холодит, а теплится ровно, как печка.

Он вышел из дома затемно, когда фонари на Горького ещё горели мутным оранжевым светом, разгоняя темноту, но не рассеивая утреннюю сырость. Прошёл до автобусной остановки, сел на двадцатый, до стадиона «Калининград». В салоне было пусто - только женщина с сумками, ехавшая на рынок, и пьяный мужик у окна, который спал, привалившись к стеклу и тихо посапывая. За окном проплывали спящие дома, мокрый асфальт после ночного дождя, череда машин, которые за ночь расставили жильцы, вернувшиеся с работы.

Крест под рубашкой грел ровно и спокойно, как печка в дальней дороге, и Иван, глядя на город, который знал каждый кирпичик, подумал: он покидает его, не знает, на сколько, не знает, вернётся ли, и вернётся ли тем же, кем ушёл. Но знал другое: он вернётся не один. А с тем, кого ищет. Или не найдёт, но крест найдёт своего хозяина, и тогда всё встанет на свои места. Всё правильно.

Автобус свернул на проспект Мира, и впереди, в серой утренней дымке, показались трибуны стадиона «Калининград» - того самого, который когда-то назывался «Балтика», а до того, может быть, «Пионер», но для Ивана это был просто стадион, место, где он бегал на физкультуру в школе и куда теперь пришёл, чтобы уехать на войну. Там уже стоя-

ли люди - другие добровольцы, с такими же вещмешками, с такими же лицами, с таким же страхом, затаённым глубоко внутри, на самом дне, куда не доходят чужие взгляды. Военные грузовики, автобусы с тонированными стёклами, в которых, наверное, сидели офицеры и ждали.

Иван вышел из автобуса, поправил лямку вещмешка, достал из кармана телефон. Написал матери одно слово: «Я там». Написал Ольге: «Сашу целуй». И выключил телефон, убрал его в карман, чтобы не разбить, не потерять, не соблазниться позвонить ещё раз и не услышать в ответ плач, от которого сердце разрывается.

Крест под рубашкой стал горячим - нет, не обжигающим, а каким-то особым, глубоким жаром, который шёл не от металла, не от тела, а оттуда, из-под земли, из тех самых глубин, где лежат руины Кёнигсберга и древние курганы, и янтарный зал, которого никто не нашёл, и сапёрные лопатки деда, и нательные кресты трёх поколений.

Иван перекрестился - не широко, не демонстративно, а по-рабочему, как делал в цеху перед сложным швом, когда нужно было сосредоточиться, когда нельзя было ошибиться ни на миллиметр. И пошёл к автобусу.

Война начиналась. Поиск начинался. И никто - ни мать, ни бывшая жена, ни пятилетний сын, ни капитан Петренко, ни сама земля, которая гудела под ногами, - никто не мог его остановить.

ГЛАВА 3. Дорога в учебку

I

Сбор на стадионе «Калининград» назначили на семь утра - час ранний, торопливый, какой-то неприкаянный, когда город ещё не проснулся окончательно, а на востоке, за заливом, только начинало брезжить, разливая по верхушкам домов бледный, болезненный свет осеннего утра. Стадион стоял на проспекте Мира, тот самый, что ещё немецким стадионом был, помнивший, наверное, и бег взапуски, и парады, и военные оркестры, а теперь принимавший в свои недра добровольцев, которые ехали на войну - кто с охотой, а кто без, кто с верой, а кто с отчаянием, но все, как один, с одним и тем же выражением на лице, которое Иван уже научился различать за годы работы в фонде: выражение человека, который перешагнул черту и не знает, что там, за ней.

Автобус до аэропорта тронулся только в половине девятого, потому что в армии, как известно, главное - уметь ждать. Ждать погоды у моря, ждать приказа, ждать своей очереди на обед, ждать, когда до тебя дойдёт очередь на отправку. Добровольцев набралось человек тридцать - разномастная толпа, пестрая, как осенний лес, где рядом с молодым дубком стоит старый, подгнивший пень, а между ними - кривая, сучковатая осина, ни туда ни сюда. Парни в спортивных костюмах, выцветших, постиранных, с логотипами непонятных фирм, мужики в камуфляже, купленном на рынке, с иголки, но оттого ещё более нелепом - ни тебе защиты, ни маскиров-

ки, одна липа. Один стоял в пиджаке и при галстукe, видно, прямо с совещания, с работы сбежал, не успев переодеться, и теперь мял в руках свою «Макдональдсовскую» папку, в которой, может быть, лежали трудовой договор и приказ об увольнении.

Иван стоял у автобуса, перекинув через плечо отцовский вещмешок - старый, ещё советский, с клеймом 86-го года, - и рассматривал лица. Кто-то курил, жадно затягиваясь, как будто эта сигарета была последней, кто-то пил кофе из пластиковых стаканчиков, которые прижигали пальцы, кто-то просто молчал, уставившись в асфальт, в чёрную, маслянистую поверхность, в которой отражались огни стадиона и низкое, свинцовое небо. Никто не улыбался. Даже тот, кто смеялся громче всех - а нашёлся и такой, всегда находится, - смеялся как-то неестественно, с надрывом, будто старался заглушить невеселую мысль своим же голосом.

Подошёл молодой парень, лет двадцати пяти, стриженный под ноль, так что кожа на затылке просвечивала синевой. Глаза цепкие, не по годам серьёзные, такие бывают у тех, кто слишком рано понял, что мир не вращается вокруг него и что жизнь - штука короткая, если с ней неосторожно обращаться. Представился:

- Дмитрий. Можно Дима. Позывной потом дадут, а пока так. Ты откуда?

- Иван, - ответил он, и рука сжала лямку вещмешка чуть крепче. - Из Калининграда. С завода «Янтарь».

- Сварщик? - Дима прищурился, как будто проверял, правду ли говорят.

- И сварщик, и юрист, - ответил Иван, чувствуя странную неловкость, когда приходится перечислять свои занятия, будто он на собеседовании. - А ты?

- Я из Черняховска. Водитель. На «Автоторе» работал, на сборке.

Иван усмехнулся про себя - ещё один с «Автотора», как тот парень, Алексей, которого он искал. Судьба, или просто много их там работало, инженеров да механиков, но от этой усмешки что-то кольнуло в груди - не боль, нет, а какая-то тихая, робкая надежда, что, может быть, всё же не зря, может быть, есть в этом невидимый смысл, незримая нить, связывающая всех уехавших с этого завода, уехавших и не вернувшихся.

- Водитель - хорошо, - сказал Иван. - Пригодится.

- Дай бог, - Дима затаился сигаретой и выпустил дым длинно, с наслаждением, как человек, для которого каждая затыжка могла стать последней, но он об этом старался не думать. - Иван, а ты старый? По виду за сорок.

- Сорок четыре, - ответил Иван без обиды. - А ты?

- Двадцать пять. Только университет закончил, два года на заводе оттрубил - и вот. Родители плачут, девушка ждёт. Сказал, вернусь - женюсь.

Он говорил это легко, как будто речь шла о том, чтобы вернуться из магазина с продуктами или из гаража после

ремонта машины. Но Иван видел, как дрожат его пальцы, сжимающие сигарету - мелкая, нервная дрожь, которую не скрыть ни громким голосом, ни развязной улыбкой. Не от холода дрожь - октябрь в Калининграде был прохладный, но терпимо, градусов десять, не больше, - от страха. От того самого, липкого, приторного страха, который заставляет сердце биться быстрее, а дыхание - перехватывать, когда вспоминаешь, куда и зачем едешь.

Автобус тронулся. Иван сел у окна, на место, откуда был виден весь проспект Мира, немецкие виллы, превращённые в офисы и консульства, Центральный парк, где он гулял с сыном, когда тот был ещё маленьким и умещался у него на руках. Рядом плюхнулся Дима, тяжело, со стуком, как мешок с картошкой. Сзади кто-то громко разговаривал по телефону, прощаясь с женой, не скрывая слов, которым не место на людях:

- Всё, Люба, всё, не реви, слышишь? Не реви. Приеду - куплю тебе шубу. Какую захочешь. Норковую. Всё, отключаюсь. Целую. И детей целуй. И скажи им, что папа их любит.

Женщина на том конце что-то кричала - Иван разобрал только всхлипы да обрывки фраз, похожих на молитву, - но связь уже оборвали, потому что в армии, как известно, главное - уметь обрывать связи.

II

Аэропорт Храброво - название странное, древнее, языческое, стоящее особняком среди привычных «Соколов»,

«Кольцово» и «Домодедовых». Говорят, происходит от старого поселения, что стояло здесь ещё до войны, до того, как прусская земля стала русской. И сам аэропорт этот был, как и его название, какой-то особенный - не похожий на стеклянные, сверкающие хай-теком терминалы Москвы, а приземистый, серый, угрюмый, будто знал, что отсюда улетают не в отпуск и не в свадебное путешествие, а туда, откуда не всегда возвращаются.

Внутри было шумно - гомон голосов, плач детей, объявления по громкой связи, дублируемые на двух языках, и этот запах, особый аэропортовый запах: кофе из автоматов, дезинфекция, которой обрабатывают полы, и тревога - беспредметная, мистическая тревога, которая не имеет ни цвета, ни вкуса, но заполняет собой всё пространство, как газ, просачивающийся в щели.

Служба безопасности проверяла документы долго и придирчиво - солдаты в камуфляже, с автоматами, смотрящие на каждого так, будто он - террорист, диверсант, шпион, кто угодно, только не законопослушный гражданин. Люди, которых пропускали на посадку, выглядели так, будто едут не в отпуск, а на край света - и были в этом, как ни странно, недалеко от истины.

Иван стоял в очереди на регистрацию и думал о том, что границы закрыты уже больше полугода. Сначала закрыли небо страны Балтии и Польша в ответ на начало СВО, потом и Россия ответила им той же монетой. Сейчас из Калинин-

града можно было вылететь только в Россию и Беларусь, а чтобы долететь до Москвы, самолётам приходилось делать крюк над Балтийским морем, прочь от запретного неба Европы, на север, в сторону финских шхер, а потом - резко на юг, в сторону Пулковских высот, теряя драгоценное время и наматывая лишние сотни километров. Иван читал об этом в новостях, в сводках, которые мелькали на экране телефона, но по-настоящему ощутил весь абсурд ситуации только здесь, в этой очереди, где люди смотрели на свои билеты так, будто это пропуска в другую жизнь - в ту, которая осталась там, за запертой дверью, и в которую они, возможно, уже никогда не вернуться.

Дима стоял рядом, помалкивал. Только вертел в руках паспорт - вертел, вертел, словно пытался отыскать в нём какой-то тайный смысл, которого не было.

- Я никогда не летал, - признался он тихо, и в голосе его впервые послышался не страх - недоумение: как же так, неужели он, взрослый мужчина, летать не умеет? - Никогда.

- Ничего, - сказал Иван, и голос его прозвучал мягче, чем он хотел. - Первый раз всегда страшно.

- А ты? - Дима поднял на него глаза. - Ты летал?

- Летал, - Иван усмехнулся. - В командировки по юриспруденции.

Посадку объявили внезапно, как будто опомнились после долгой задумчивости, и толпа тут же зашевелилась, подхватила сумки, застегнула молнии, загалдела - скорее, скорее,

пока не передумали. И двинулась к выходу на лётное поле, серой, монотонной рекой, в которой каждый был песчинкой, а все вместе - неодолимой силой, устремлённой вперёд, к самолёту, к небу, к неизвестности.

III

Самолёт оказался старым «Сухим» - из тех, что ещё в девяностые летали по союзным республикам, а теперь доживали свой век на внутренних линиях, щербатые, облезлые, с краской, облупившейся на крыльях, и подлокотниками, заклеенными синей изолентой, которая уже отходила по краям, обнажая холодный, неприветливый пластик. Запах в салоне стоял тяжёлый - смесь керосина, старой обивки и чьей-то тошноты с передних рядов, которую стюардессы пытались перебить дешёвым освежителем воздуха, но только ухудшили положение.

Иван сел у иллюминатора, вдавив колени в спинку переднего кресла - места в экономическом классе были рассчитаны на людей с более скромными пропорциями, чем у него. Дима сел рядом, зажав вещмешок между ног, и уставился вперёд пустыми, ничего не видящими глазами.

Салон быстро заполнился - гражданские с сумками, военные в форме, одна женщина с ребёнком на руках, который плакал не переставая, надрывно, безутешно, как будто знал, что война - это не то место, куда стоит ехать, даже на самолёте, даже в кресле у окна.

Когда двигатели заревели - сначала тихо, с лёгким при-

свистом, потом всё громче, громче, заполняя собой всё пространство, - Иван на секунду закрыл глаза, чтобы привыкнуть к этому звуку, который когда-то, давно, в другой жизни, казался ему романтическим, обещающим дальние страны и приключения. Самолёт вырулил на взлётную полосу - трясясь, подпрыгивая на стыках бетонных плит, - разбежался, набирая скорость, и земля ушла из-под ног.

Калининград остался внизу: немецкие крыши с красной черепицей, серые многоэтажки, похожие на спичечные коробки, изгиб Преголы, серебряной нитью прошивающий город насквозь, а дальше - Балтийское море, бескрайнее и тёмное, как душа грешника, которому не было прощения. Иван смотрел на иллюминатор, пока город не превратился сначала в муравейник, потом в пятнышко, а потом и вовсе исчез за облаками, будто его никогда и не было.

Дима сидел с закрытыми глазами, побелевшие пальцы вцепились в подлокотники так, что костяшки выступили наружу, белые, гладкие, как бильярдные шары.

- Ты чего? - спросил Иван, хотя ответ знал заранее.

- Боюсь, - сказал Дима, и голос его прозвучал неестественно высоко, по-мальчишески. - Взлёт - это ладно. Посадка страшнее.

- Будем надеяться, что посадка будет, - сказал Иван и подумал о том, что посадка обязательно будет, потому что не может не быть, но будет ли она такой же безопасной, как эта, с мягким касанием шасси и аплодисментами пассажиров, -

вот в чём вопрос.

Они замолчали. Самолёт шёл над морем, делая тот самый крик, о котором столько говорили в новостях, - уходил на север, облетая запретную для российских авиакомпаний территорию Европейского союза, словно перепуганный зверь, который обходит стороной капкан, поставленный охотниками. В иллюминаторе уже не было видно ни воды, ни неба - только серая, бесформенная масса облаков, в которой растворялось время.

Иван прикрыл глаза и снова услышал землю. Но не ту, что осталась внизу, в Калининграде, где древняя прусская земля гудела обещанием и памятью, а ту, что будет впереди. Она гудела - глухо, на низкой ноте, как самая толстая струна на контрабасе, которую музыканты трогают только в самых траурных пассажах. Земля под Ростовом, под Луганском, под Кременной, под Сватово, где сейчас сидят в окопах солдаты - молодые, старые, свои, чужие, - и ждут. Ждут приказа, ждут боя, ждут смерти или чуда. Та самая земля, куда он летел - не по приказу, не по повестке, а по велению сердца, которое было сильнее страха.

Крест под рубашкой лежал тихо, не грел, не жёг - просто присутствовал на своей новой, чужой пока что груди. Присутствовал и молчал. Но молчание его было не пустым, а полным смысла, как молчание священника перед исповедью, когда он ждёт, когда ты сам заговоришь, сам расскажешь о том, что тяготит, сам попросишь помощи, которую не в си-

лах попросить у людей.

IV

В Москве пересадка была долгой - почти пять часов. Пять часов шатания по залам аэропорта, когда ноги гудят от усталости, а глаза слипаются, но спать нельзя, потому что в любой момент могут объявить посадку, а ты должен быть на месте. Они сидели в зале ожидания на аэровокзале - жёсткие пластиковые стулья, которые, были изобретены специально для того, чтобы человек не мог на них отдохнуть, - пили кофе из автомата, отдающий пластмассой и горечью, и ели купленные в ларьке пирожки с капустой, уже остывшие, с засохшими краями, но всё равно вкусные, потому что голод - лучший повар.

Дима постепенно отошёл от перелёта, расслабился, стал разговорчивее. Рассказывал про свою девушку - Катю, Катеньку, как он её называл, и в этом уменьшительно-ласкательном имени было столько нежности, сколько не вмещается в мужское сердце, а вмещалось, чудом. Рассказывал про собаку, дворнягу, которую пришлось оставить родителям, потому что в казарму с собакой не пускают, а убивать её жалко.

- Жалко, - вздыхал он, и в глазах его стояли слёзы - не мужские, не горькие, а какие-то детские, недоумевающие. - Дворняга, а умная как человек. Понимает всё.

- Вернёшься - заберёшь, - сказал Иван, и слова эти прозвучали как клятва, как обещание, данное не только Диме,

но и себе самому, и всем тем, кто остался дома и ждал.

- Ага, - Дима усмехнулся, но как-то грустно. - Если вернусь.

- Вернёшься. - Иван посмотрел на него внимательно, так, что Дима опустил глаза. - Мы оба вернёмся.

- Ты добрый, Иван, - сказал Дима и вдруг положил руку ему на плечо. - Прямо как отец.

Иван ничего не ответил. Просто подумал: «Отцом быть труднее, чем солдатом». Потому что солдат умирает один раз, а отец - каждый раз, когда его сын уходит на войну, и каждый раз, когда он не возвращается.

На посадку в Ростов объявили ближе к вечеру, когда за окнами аэропорта уже зажглись фонари, а небо потемнело, наливаясь густой, чернильной синевой. Снова рев двигателей, снова тряска, снова земля уходит из-под ног и возвращается уже другой - южной, жёлтой, с редкими перелесками и петляющими, как змеи, реками, которые блестели на солнце, отражая его последние, предзакатные лучи.

В Ростове-на-Дону их встречал автобус от учебного центра - старый «ПАЗ», крашенный в казённый зелёный цвет, такой же унылый, как шинель солдата, с зашторенными окнами, чтобы никто не видел, куда и зачем едут эти люди, и чтобы они сами не видели того, что их ждёт впереди. Погрузились. Иван сел у окна, Дима - рядом, уткнувшись лбом в холодное стекло.

За воротами аэропорта начались поля. Бескрайние, серые

от осенней стерни, с редкими перелесками и деревнями, которые сжались до нескольких домов, притворявшихся мёртвыми, чтобы выжить. Иван смотрел и думал: эти поля помнили Наполеона, помнили Гитлера, помнили Смутное время и ордынцев, помнили, как кони топтали посевы, как пули косили людей, как кровь удобряла землю, делая её жирной, тучной, урожайной. Кровь в них была замешана прямо в чернозём - чёрный, маслянистый, пахнущий смертью и жизнью одновременно. И сейчас снова - земля гудела, не предупреждая, а вспоминая. Свою историю, свою боль, своих павших и своих убийц. Всё помнила, ничего не забывала.

Дима спал, уткнувшись в плечо Ивана, и Иван не отстранился, хотя плечо затекло и ныло. Пусть. У парня, может, последние спокойные минуты в жизни, последний сон без взрывов, последний отдых без тревоги. У каждого из них, может быть, они были последние.

Около полудня автобус свернул с трассы на просёлочную дорогу, затрясся на ухабах, заскрипел всеми своими сочленениями, как старик, которого заставили плясать. Кто-то застонал спросонья, кто-то выругался длинно, со вкусом, перечисляя все поколения водителя, включая тех, которые ещё не родились. Водитель, не оборачиваясь, крикнул в салон:
- Приехали! Учебный центр. Выходим!

Иван выглянул в окно. Вдали виднелись одноэтажные казармы, сложенные из тёмно-красного кирпича, который, почернел от времени и непогоды, плац, залитый бетоном, стол-

бы с колючей проволокой, несколько «Уралов» с тентами, на которых уже проступили пятна ржавчины. Земля здесь гудела уже не тихо - она пела, низко и тревожно, как струна, натянутая до предела, до скрипа, до звона. Песня эта была древняя, страшная, знакомая каждому солдату, который когда-либо стоял на этом плацу, сжимая в руках автомат и глядя вдаль, туда, где, может быть, его ждала смерть, а может быть, и жизнь.

«Вот она, война, - подумал Иван. - Ещё не фронт, но уже дыхание. Уже запах, уже звук, уже тяжесть за плечами и в груди, от которой не избавиться, пока не вернёшься домой».

Он поднялся, растолкал Диму. Подержал за плечо, пока тот протирал глаза и пытался сообразить, где он и почему вокруг так холодно и сыро.

- Приехали, брат.

- Уже? - Дима протёр глаза ладонью, посмотрел в окно и побледнел, как полотно, как та самая простыня, которой накрывают мёртвых перед тем, как отправить их в последний путь. - Страшно-то как. Иван, страшно.

- Ничего, - сказал Иван, и в голосе его была уверенность, которой он сам не чувствовал. - Привыкнешь.

Они вышли из автобуса. Холодный ветер ударил в лицо, хлестнул, словно пощёчина, пытаясь сбить с ног, напомнить, что здесь не курорт, не санаторий, а учебный центр, где учат убивать и не дают умереть раньше времени. Пахло прелой листвой, мазутом, которым пропитались доски плаца, и чем-

то ещё - железом, что ли, кровью, которая, возможно, была пролита здесь, на этом самом месте, много лет назад и не впиталась в землю, а так и осталась лежать на поверхности, тёмными, невыводимыми пятнами.

Иван поправил вещмешок, вдохнул поглубже - так, что в груди закололо, - и почувствовал, как крест под рубашкой нагрелся. Не обжигая, а утверждая: «Правильно идёшь. Держись. Не сдавайся. Я с тобой».

Из казармы вышел офицер в камуфляже, с нашивкой «комбат» на рукаве, с лицом, изрытым оспинами и морщинами, которые, как карта, обозначали пройденные войны и походы. Он оглядел новеньких спокойным, усталым взглядом, вздохнул, как вздыхают перед долгой, нудной работой, и скомандовал:

- Добровольцы? Ко мне. Знакомиться будем. Жить будете в казарме номер два. Оружие получите завтра. Сегодня - размещение, ужин, отбой в двадцать два ноль-ноль. Вопросы?

- Нет, - ответил кто-то из строя, и голос его прозвучал сипло, испуганно, как у ребёнка, который потерялся в лесу.

- Тогда за мной.

Иван пошёл, чувствуя, как земля под ногами гудит всё сильнее - в ноги, в позвоночник, в затылок, в самое сердце. Не мешая идти, не пугая - просто напоминая, что он здесь не один. Рядом с ним, за его спиной, впереди него - невидимые, но осязаемые, как сама земля, - шли те, кто были до него. Деды в телогрейках с ППШ за спиной, прадеды в кольчугах с

мечами, опущенными в землю. Они тоже начинали с учебки. И тоже боялись. Но шли.

Иван пошёл.

ГЛАВА 4. Учебка

I

Учебный центр под Ростовом-на-Дону - место, где само время, кажется, сбилось со счёту и задремало, убаюканное однообразием плацев, казарм и стрельбищных мишеней. Располагался он на старом полигоне в стороне от большой дороги, где ещё до революции, говорят, квартировался какой-то драгунский полк - толстые стены, сложенные из тёмно-красного, почти чёрного кирпича, сводчатые потолки, от которых отскакивало эхо, и узкие оконца, похожие на бойницы. Потом, уже при Советской власти, казармы перестраивали, добавляли бетонные блоки, вставляли пластиковые рамы, проводили новую проводку, но дух старых стен не перебить ничем - он остаётся, сочится из щелей, живёт в запахах, в звуках, в той особой, тягучей тоске, которая, кажется, пропитала каждый кирпич.

Иван вошёл внутрь, и ему почудилось, что стены помнят голоса всех, кто жил здесь до него: красноармейцев в будёновках, уходивших на фронт в сорок первом, и тех, кто вернулся с войны и нёс здесь караульную службу в пятидесятых; афганцев в выцветших «пустынях», с пустыми, выжженными глазами; чеченцев, ещё совсем пацанов, сжимавших ав-

томаты так, что костяшки белели; и тех, кто сейчас сидит в окопах под Сватово, под Кременной, под Лиманом, - они тоже оставили здесь свою память, впитавшуюся в шербатые полы и облупившиеся стены.

Казарма номер два оказалась комнатой на сорок коек - железные кровати с панцирными сетками, которые проседали под тяжестью тела, тумбочки, на которых аккуратно стояли кружки, зубные пасты и щётки - начальство требовало образцового порядка, и за каждую неправильно поставленную кружку полагался наряд вне очереди. Пахло свежей побелкой, казённым мылом, соляжкой, махоркой и ещё чем-то невыразимо тоскливым, тем особым запахом, который бывает только в местах, где люди живут не своей жизнью, а ждут - ждут отправки, ждут боя, ждут приказа.

Иван выбрал койку в углу, у окна. Здесь хотя бы был свет - скудный, осенний, но всё же живой. Дима примостился рядом, скинул вещмешок - тот упал с глухим стуком, - и тут же рухнул на матрас, закрыв глаза.

- Устал? - спросил Иван.

- Не то слово, - простонал Дима, не открывая глаз. - Как будто километров двадцать прошёл. С рюкзаком. По горам.

- Ты их ещё пройдёшь, - усмехнулся Иван. - Не волнуйся.

В казарму заходили другие добровольцы - кто шумно, с гоготом и матерком, кто тихо, воровато, будто боялся, что его заметят и вернут обратно. Иван смотрел на них и пытался угадать, кто есть кто, - привычка, выработанная годами

работы в фонде, где каждый человек читается как открытая книга. Вон тот, мужик лет сорока, с сединой в висках и тяжёлой походкой боксёра, - видно, из бывших военных, может, афганец, может, чеченец, руку на милости не подаст, но в бою не бросит. А вон тот, парень лет двадцати двух, худой, длинноволосый, - волосы ему прикажут сбрить уже завтра, - с цепкими, внимательными глазами снайпера или разведчика, из таких, кто видит цель раньше, чем её назовут. А вон третий - коренастый, широкий в плечах, с руками, покрытыми наколками, сделанными, видно, ещё на зоне, и с лёгкой, какой-то беззаботной улыбкой, которая в такой обстановке казалась неуместной, почти кощунственной.

Они не познакомились. Добровольцы на СВО - народ не очень разговорчивый. Каждый нёс своё: кто-то рвался в бой, потому что дома не сложилось, кто-то прятал страх под маской равнодушия, кто-то просто устал от гражданской жизни - от ипотек, кредитов, начальников и скандалов в очереди за колбасой, - и хотел простоты: стреляй, получай паёк, спи в казарме, не думай о завтрашнем дне. Иван видел таких на юридических приёмах в фонде - приходили матери, жёны, невесты, приносили фотографии, плакали, спрашивали, вернутся ли. Иван знал, что часто они не возвращались.

После ужина - гречка с котлетой, жидкий чай и сухарь, который больше походил на подошву, - в казарму зашёл офицер. Высокий, подтянутый, с нашивками разведчика на рукаве, лицо - словно высеченное из гранита, ни одной лишней

эмоции, ни одного лишнего жеста. Он построил добровольцев в коридоре - криком, матом, быстрыми командами, от которых новички путались, сбивались, натыкались друг на друга - и начал зачитывать список распределения по взводам.

- Береговой Иван - третий взвод, отделение первое. Командир взвода - старший лейтенант Севастьянов, позывной «Скворец». - Офицер поднял глаза от бумаги, и его взгляд, острый, как лезвие, упёрся в Ивана. - У него опытные ребята. Слушайся, не лезь на рожон. Вопросы?

- Нет, - сказал Иван.

- Дмитрий Корецкий - туда же, третий взвод.

Дима облегчённо выдохнул - так выдыхает утопающий, когда чья-то рука хватает его за шиворот и тащит к берегу, к жизни, к свету.

Остальных добровольцев разобрали другие взводы - кто-то попал в четвёртый, кто-то во второй, кто-то в разведроту, о чём ему потом долго не давали забыть.

II

Знакомство со взводом состоялось на плацу, на следующее утро. Октябрьское утро в Ростовской области - вещь суровая: ветер дул с полей, с Донца, с низкого, налитого свинцом неба, бросал в лицо мелкую колючую пыль, смешанную с первыми, ещё робкими снежинками, которые таяли, едва коснувшись нагретой за день земли. Иван стоял в строю, сжимая автомат, которым его только что обмундировали -

старый АК-74, потёртый, с битым пластиковым прикладом, но чистый, смазанный, пахнущий ружейным маслом и уважением. Рядом с ним замер Дима - побледневший, с дрожащими, как у новорождённого жеребёнка, коленями, но сжавший челюсти так, что желваки заходили ходулями. А перед ними - другие бойцы, старожилы, уже прошедшие обкатку, уже знающие, что к чему: кто-то курил, кто-то смотрел в небо, кто-то переговаривался в полголоса, не обращая внимания на новеньких.

Командир взвода, старший лейтенант Севастьянов, вышел вперёд, и строй затих - не от команды, от какого-то внутреннего чутья, которое подсказывало каждому: этот не кричит, не ругается, не мечет громы и молнии, но с ним шутки плохи. Ему было лет тридцать, сухой, жилистый, с цепким взглядом и голосом, который не повышался, но слышен был, за километр.

- Скворец, - коротко представился он. - Буду вашим командиром. Здесь - не мама, не папа, не военкомат, не прокуратура. Здесь война. Кто не готов - шаг вперёд, напишем рапорт, отправим домой. Кто готов - слушать мои команды и делать, что скажу. Поняли?

- Поняли, - ответил строй, не очень дружно, кто-то испуганно, кто-то с вызовом, кто-то просто так, чтобы отвязаться.

Скворец оглядел каждого, задержав взгляд на Иване - дольше, чем на других, как будто примеривался, взвешивал

на невидимых весах.

- Береговой, вы старший по возрасту. Опыт есть? - спросил он, и в голосе не было ни издёвки, ни жалости - только деловой интерес.

- Технический, - ответил Иван. - Работал на заводе сварщиком. Автомат держал только на стрельбах в молодости, да и то давно.

- Научим, - сказал Скворец и кивнул, как будто поставил галочку в невидимом списке. - Ребята, познакомьтесь. Это наш «дед» - по возрасту, не по службе. Обижать не советую.

Из строя, лениво, не спеша, шагнул коренастый мужчина с татуировками, покрывающими обе руки до самых запястий - якоря, черепа, надписи, смысл которых угадывался, но не читался до конца. Он подошёл к Ивану и протянул руку - широкую, мозолистую, с обломанными ногтями.

- Жук, - сказал он. - Водитель. Из Мариуполя. Воевал там, теперь здесь.

- Иван, - ответил Иван, пожимая руку - рука была твёрдая, сильная, из тех, что не выпустят, пока не сломают до конца.

- Слышал, юрист? - спросил Жук, и в глазах его мелькнула искра уважения.

- И сварщик, - добавил Иван.

- О, - протянул Жук, и бровь его поползла вверх. - Это полезно. У нас техника ломается каждый день. А чинить некому. Так что ты, Береговой, теперь наш человек.

Следующим подошёл худой, жилистый парень, в котором

трудно было узнать вчерашнего длинноволосого снайпера - волосы уже сбрили под ноль, и в этом скоблёном, хищном черепе, в острых скулах, в цепких, немигающих глазах угадывалась порода, выведенная не в тепличных условиях, а на морозе, на голодном пайке и на постоянной готовности к смерти.

- Луч, - сказал он и окинул Ивана быстрым, оценивающим взглядом, который, прошёл насквозь, обшарил каждый закоулок души и вынес вердикт. - Снайпер. Из Воронежа. Тяжеловат для снайпера, - и улыбнулся одними глазами, - но в рукопашной, наверное, полезен.

- Не занимался, - признался Иван. - Рукопашной. Только швы варить.

- Научим, - повторил Луч, передразнив тон Скворца, и отошёл.

Последним из строя медленно и тяжело, как танк с заведённым мотором, который выходит на позицию и уже никуда не уйдёт до самого конца, выступил седой мужчина. Ему, наверное, было под пятьдесят, а может, и все пятьдесят пять - на таких лицах возраст пишется не годами, а войнами: шрамы, рубцы, морщины, проложенные не временем, а горем. Один глаз мутный, с бельмом, другие в таких случаях говорят «глаз стеклянный», но это была не стеклоты - это была пустота, которая смотрит на тебя с того света. Руки покрыты наколками - ещё советскими, лагерными, с теми самыми перстнями, звёздами и куполами, которые набивали в

местах не столь отдалённых, и ожогами от оружия - следы долгой, тяжёлой жизни, которую не пропьёшь и не проиграешь в картишки.

Он подошёл к Ивану, и от него пахло старым табаком, махоркой, потом и чем-то ещё, знакомым до боли, - запахом войны, который Иван уже успел узнать и запомнить на всю жизнь. Хмурый смотрел на Ивана долго, пронизывающе, как смотрит старый волчара на щенка, проверяя, есть ли в том злость, хватит ли его на один укус или согдится только на то, чтобы визжать и поджимать хвост.

- Хмурый, - представился он хрипло, и в голосе его послышался металл, пробитый осколками и заржавевший от времени. - Ветеран. Чечня, Донбасс - семнадцатый год. Войну нюхал, фильтровал. - Он взял Ивана за плечо - рука легла тяжело, как клешня хирурга, который уже держал в ней не одну чью-то жизнь. - Ты, парень, не бойсь. Бояться - не стыдно. Стыдно - не делать.

- Я понял, - сказал Иван и почувствовал, как крест на груди - тот самый, чужой, но уже родной - стал чуть теплее. Предки, наверное, одобряли.

- Молодец, - Хмурый одобрительно хмыкнул и хлопнул Ивана по плечу. - Держись меня. И всегда клади магазин на сухую.

Иван не понял, что значит «на сухую», но кивнул. Потом объяснит кто-нибудь. Потом всё объяснят.

Следующая неделя была адом. Не тем адом, о котором говорят священники, с котлами и сковородками, а тем, который человек создаёт для человека сам, без всякой божественной помощи - из приказов, нарядов, строевых упражнений, бега, стрельбы, рытья окопов и ночных тревог.

Подъём в шесть утра. На плацу - мороз, темнота, ветер. Бег в полной выкладке - броник, каска, автомат, вещмешок. Бежишь по пересечённой местности - кочки, ямы, камни, грязь. Дима рядом дышит так, что, кажется, лёгкие вот-вот выскочат из груди, а потом он падает, и Иван поднимает его, и они бегут дальше. Потом - стрельбище, где у Ивана пули разлетаются в разные стороны, как горох, брошенный об стенку. Потом - тактическая подготовка, где нужно запомнить, кто где лежит, кто за кем идёт, кто в какой момент стреляет. Потом - рытьё окопов, когда лопата звенит о мёрзлую землю, а руки в брезентовых перчатках немеют и отказываются служить. Потом - ночные учения, когда не видно ни зги, когда каждый куст кажется врагом, а каждый шорох - выстрелом.

Иван, сухой, жилистый сварщик, привыкший к тяжелой работе, но не к такому ритму, тяжело переносил нагрузки. Спина болела так, что он по утрам не мог разогнуться. Ноги гудели, напоминая о себе при каждом шаге. Руки - те самые, золотые руки сварщика - дрожали, как у запойного, когда он пытался застегнуть липучки на разгрузке. С непривычки он постоянно отставал - то броник не так застегнёшь, то патро-

ны в магазин запрессуешь криво, то в окопе перепутаешь лево и право. Дима, молодой и шустрый, подхватывал его то под руку, то под локоть, поднимал, если падал, подсказывал, что делать, и ругался сквозь зубы, но не бросал.

- Дед, ты держись, - шептал Дима им в короткие минуты передышки, когда они сидели на плацу, привалившись спиной к холодной бетонной стене, и жадно глотали воду из фляг. - Ты сильнее, чем кажешься. Я таких, как ты, знаю - они последними падают, если вообще падают.

Иван сжимал зубы - так, что жевательные мышцы сводило судорогой, - и шёл дальше. Но больше всего, больше боли и усталости, его мучила стрельба. Оружие не слушалось его. Привыкшие к держаку сварки, к точному, выверенному движению, к плавному ведению шва, его руки никак не могли найти нужный хват. Автомат ерзал в ладонях, спусковой крючок срывался раньше времени, приклад бил в плечо не туда, куда надо, а пули летели куда угодно, только не в мишень.

- Расслабься, - говорил Луч, который отвечал за стрелковую подготовку. Он стоял рядом, сложив руки на груди, и смотрел на Ивана с терпеливым, но настойчивым недоумением. - Автомат - не женщина, его не надо сжимать до хруста. Он тебя слушается, если ты его уважаешь. А ты его не уважаешь - ты его боишься.

- Я уважаю, - бурчал Иван, вытирая пот с лица и снова припадая к прицелу. - Не слушается.

- Потому что не твоё оружие, - безжалостно заключал Луч.
- Твоё - сварочный аппарат.

Иван сжимал приклад так, что дерево начинало трещать, но пули по-прежнему ложились в молоко, в землю, в соседнюю мишень, но не туда, куда надо.

Хмурый, наблюдавший за его упражнениями со стороны, только вздыхал и крутил головой, как старый конь, который смотрит на молодого жеребца, бьющего копытом не в ту сторону.

- Не в стрельбе счастье, Береговой, - сказал он однажды, когда Иван, обессиленный и злой, отшвырнул автомат в сторону. - Ты ж юрист? Вот будешь с пленными говорить - пригодится.

- Я не лингвист, - ответил Иван, и в голосе его послышалось отчаяние.

- А ты понял, - хмыкнул Хмурый и полез за папиросой, но, взглянув на Ивана, раздумал курить, сунул портсигар обратно в карман и пошёл в сторону, бормоча себе под нос что-то неразборчивое.

IV

Но у Ивана, как это часто бывает с людьми, чьи руки помнят больше, чем их голова, оказался другой талант.

На пятый день учебки, во время занятий по технической подготовке, сломался пулемёт ПКМ в соседнем взводе. Механик, молодой парень с красными от бессонницы глазами и вечно испачканными маслом ладонями, битый час возился с

затвором - разбирал, чистил, смазывал, собирал, проверял, снова разбирал, - потом плюнул с досады и махнул рукой:

- В сервис, не могу.

Иван подошёл, глянул на пулемёт - и вдруг его руки, те самые, непослушные на стрельбище, но безупречные в работе с металлом, как будто сами, без команды, потянулись к оружию. Он отщёлкнул крышку ствольной коробки, привычным, отработанным движением вынул затворную раму - легко, без усилия, как будто делал это всю жизнь, - осмотрел направляющие и глазами сварщика, привыкшего к миллиметрам, к допускам, к тому, что нельзя ошибиться ни на полволоска, увидел проблему. Микроскопическая неровность на направляющем выступе, невидимая глазу, но осязаемая опытной рукой.

Он достал из кармана свой миниатюрный надфиль - всегда носил с собой этот инструмент, привычка, выработанная годами тонкой работы, - аккуратно, даже нежно, прошёлся по выступу, смазал, собрал - пулемёт защёлкал, заурчал, задышал ровно, как новенький, только что с завода.

Командир соседнего взвода - молодой, горячий лейтенант, который, весь состоял из нервов и амбиций, - посмотрел на Ивана округлившимися глазами.

- Ты кто, чёрт возьми? - спросил он, и в голосе его слышалось не уважение даже - изумление. - Ты откуда такой взялся?

- Сварщик, - пожал плечами Иван и улыбнулся - впервые

за эту неделю.

- Сварщики так пулемёты не чинят, - хрипло выдавил лейтенант.

- Этот - чинит, - ответил за Ивана Хмурый, который стоял в дверях и смотрел на сцену с одобрительной, но сдержанной улыбкой.

Слух о «юристе-сварщике, который чинит оружие голыми руками», разлетелся по учебке быстрее, чем ветер разносит осеннюю листву по степи. К Ивану стали подходить бойцы со сломанными автоматами, гранатомётами, оптическими прицелами - и он не отказывал никому, потому что руки его, сами знали, что нужно делать, а голова только поддакивала.

Особенно оценил его Жук, водитель, который вечно мучился со своим «Уралом» - старым, выдавшим виды, но ещё бодрым грузовиком, который то глох на ходу, то дымил, то выл на всю округу.

- Береговой, - сказал Жук, подходя к Ивану после вечерней поверки, - у меня «Урал» гудит так, как будто его черти трахают. Вторую неделю. Механики разводят руками. Посмотри, а?

Иван, недолго думая, залез под машину - холодно, грязно, пахнет соляжкой, горелым маслом и ещё чем-то кислым, - постучал молотком по карданному валу, прислушался к звуку, провёл рукой по коробке передач, зачем-то понюхал пальцы, потом нашёл - люфт в крестовине, едва заметный, но достаточный, чтобы весь механизм разладился. Заменить

бы, но запчастей нет, на складе пусто, снабжение хромает на обе ноги. Иван пошёл в мастерскую, покопался в ящиках, нашёл кусок подходящего металла, выточил самодельную втулку - и «Урал» затих.

- Мастер, - сказал Жук, когда Иван вылез из-под машины, весь в масле, в грязи, с синяком под глазом - задел о какую-то железяку. - Золотые руки. Ты не на фронт, ты на завод запишись.

- Я уже написан, - ответил Иван, стряхивая с себя грязь и улыбаясь. - Но на заводе не найду того, что ищу.

Жук не понял, что он имеет в виду - про крест, про поиск, про ту женщину в чёрном платке, которая оставила ему надежду, завязанную в узелок, - но уважительно хлопнул Ивана по плечу и сказал:

- Ну, смотри. Твоё дело.

V

Однажды вечером, после отбоя, когда казарма наконец затихла и только редкие храпы да вздохи нарушали тишину, Иван сидел на своей койке и смотрел в окно. За окном, за стеклом, залитым мутным светом прожектора, луна висела низко, жёлтая, больная, освещающая плац, где ещё недавно маршировали новобранцы, и бетонные плиты, уложенные в шахматном порядке, казались серебряными, какими-то ирреальными, как на другой планете. А вдали, за проволочными заграждениями, за контрольно-следовой полосой, начиналась степь - бескрайняя, чёрная, измученная плугами и снаряда-

ми, политая потом и кровью. Земля лежала тёмной гладью, и Иван слышал её гул - не такой, как под Калининградом, где древняя прусская земля гудела обещанием, а далёкий, глубокий, как стон, идущий из самой сердцевины.

Там, под этой землёй, спали сотни тысяч людей. Те, кто пахал её когда-то сохой и плугом, сеял рожь и пшеницу. Те, кто умирал на ней - от стрелы, пули, снаряда, от голода и холода. Те, кто уходил в неё и оставался навсегда, превращаясь в глину, в песок, в чернозём, в ту самую плоть, по которой теперь маршируют солдаты и ездят танки.

Иван прикрыл глаза - и уже не мог их открыть. Не то чтобы не хотел - просто веки налились свинцом, и он увидел их.

Не во сне. В том особенном, мистическом полусне, который накрывал его всякий раз, когда он оставался один, когда крест на груди начинал говорить с ним на своём безъязыком, но понятном сердцу языке.

Они стояли вокруг него - не глядя, не дыша, не шевелясь, но присутствуя, охраняя, защищая от всего, что могло причинить ему вред. Солдаты в кольчугах, с мечами, опущенными в землю, в шлемах с узкими прорезями для глаз, из которых горел ровный, маслянистый свет. Солдаты в телогрейках, с ППШ за спиной, с чёрными от копоти руками, с красными звёздами на пилотках. Солдаты в камуфляже, с СВД, с БК на поясе, с нашивками, которых Иван не видел, но знал, что они есть.

Иван понял, что они здесь не потому, что он особенный.

Не потому, что он святой, не потому, что он герой, не потому, что он достоин. А потому, что он взял крест. Крест, который носили до него десятки, сотни людей - и каждый из них оставил в этом металле частицу своей души, своей боли, своей надежды. Крест, который был старше Калининграда, старше Кёнигсберга, может быть, старше самого города - старше камней, на которых он стоит, старше реки, которая его омывает, старше деревьев, которые растут в его парках.

Он открыл глаза. В казарме было тихо. Рядом сопел Дима, свернувшись калачиком и что-то бормоча во сне - может, девушку звал, может, мать. Жук на соседней койке вертелся, не мог заснуть, скрипел панцирной сеткой и вздыхал так, как вздыхает человек, который видел слишком много смертей. А в углу, у самой стены, где тьма сгущалась, в плотную, почти осязаемую массу, сидел Хмурый. Не спал - сидел с открытыми глазами и пил воду из фляги, глядя перед собой в одну точку.

- Не спится, Береговой? - спросил он хрипло, и в голосе его послышалось понимание, которое не купить ни за какие деньги.

- Не спится, - ответил Иван, и голос его звучал чужим, далёким, будто шёл не из горла, а из той же бездны, из которой недавно пришли предки.

- Всегда так в первые недели, - сказал Хмурый, откручивая крышку фляги, делая маленький глоток и снова закручивая. - Земля новая, люди новые, а старые - не отпускают.

Вот и мечутся между ними, как неприкаянные. - Он вздохнул, тяжело, с присвистом, как паровоз, который выпускает пар. - Ты слышишь её?

- Что? - переспросил Иван, хотя уже знал ответ.

- Землю. - Хмурый посмотрел на него - долгим, внимательным взглядом, с тем особым выражением, какое бывает у людей, выдавших смерть и чудеса. - Я в Чечне слышал. В Донбассе в семнадцатом - тоже. Она живёт, Береговой. Дышит. Говорит. Только не каждый слышит. Только не каждый удостоен.

- Слышу, - признался Иван и почувствовал, как крест на груди потеплел - несильно, чуть-чуть, но достаточно, чтобы разогнать ночную стынь.

Хмурый кивнул, словно и не сомневался в ответе.

- Значит, не зря ты здесь, - сказал он и закрыл флягу, сунул её обратно в карман разгрузки. - И не зря взял эту ношу. Крест, да? Тот самый?

- Тот самый, - ответил Иван и не стал уточнять, что он имеет в виду - и Хмурый не стал спрашивать. Война многому учит, а главное - она учит понимать друг друга без лишних слов.

- Спи, - сказал Хмурый и отвернулся к стене. - Завтра стрельбы. Пули летят, спрашивают, кто ты есть на самом деле. И ты им ответишь. Крестом. Или руками своими, которые металл помнят. А пока - спи.

Иван лёг, уставился в потолок - бетонные плиты, которые,

давили на грудь всей своей тяжестью. Крест под рубашкой снова нагрелся - ровно, спокойно, как мамина рука на лбу в детстве, когда была температура и она сидела рядом и шептала что-то ласковое, и от этого тепла становилось легче, и боль отступала, и страх уходил, и приходил сон - долгий, глубокий, без сновидений.

Он закрыл глаза и заснул. Земля под казармой гудела - низко, убаюкивающе, как колыбельная, как песня, которую поют детям, чтобы они не боялись темноты.

ГЛАВА 5. Дорога на СВО

I

Их подняли в четыре утра. Не по тревоге - по команде «отправка», которая звучала буднично, даже скучно, но от этой будничности становилось не легче, а тяжелее: война началась не с героического марша, а с тусклого света, зажжённого под потолком казармы, где сорок человек молча натягивали поверх тельняшек бронежилеты.

В казарме было тихо. Не та тишина, которая бывает перед бурей, когда всё замирает в ожидании, - а та, утренняя, сосредоточенная, когда люди заняты делом и не тратят слов на пустое. Никто не ныл, не матерился громко, не хлопал дверцами тумбочек. Сорок человек одевались так, как одеваются в дорогу, из которой могут не вернуться: сосредоточенно, без лишних движений, с той особенной, вьедливой тщательностью, когда каждый лишний не застёгнутый ремень, каж-

дая плохо подогнанная ляжка могут стоять жизни.

Иван надел свой старый бронежилет - пятнадцать килограммов свинцовой усталости, которые тотчас легли на плечи, на позвоночник, на рёбра. Жилет был казённый, потрёпанный, с белыми разводами пота на груди и спине - от предыдущего хозяина, который, может быть, уже лежал где-нибудь в глине под Кременной. Иван подтянул ляжки, застегнул липучки на животе, постучал кулаком по пластинам - глухо, надёжно, как по капоту старого «Урала». Крест под рубашкой лежал спокойно, но в самом металле угадывалась вибрация - тонкая, высокая, будто старый артефакт настраивался на чужой, далёкий пульс, на ту самую землю, куда они ехали.

- Это тебе не завод, Береговой, - сказал Хмурый, застёгивая разгрузку привычным, автоматическим движением, которое он повторял, наверное, тысячу раз. - Там металл - живой, дышит, тебя слушается. Здесь металл - мёртвый. Честный. Врёт редко. Но визжит больно.

- Слышал, - ответил Иван, и в голосе его не было страха, была только та ровная, спокойная тяжесть, которая появляется у человека, когда он принял решение без права на отступление.

Рядом Дима застёгивал берцы - не дрожа, нет, он уже перестал дрожать, просто делал это чуть медленнее обычного, потому что пальцы в перчатках не попадали в дырки, соскальзывали с намерзших шнурков. Иван положил руку ему

на плечо - тяжело, уверенно, как старший кладёт руку на плечо младшего, когда не нужно слов.

- Нормально, - сказал Иван. Не вопрос - утверждение.

- Нормально, - повторил Дима и выдохнул. - Сердце только... как кузнечный молот.

- Первый раз всегда так, - сказал Иван. - Потом привыкнешь.

Луч уже стоял у двери - сухой, поджарый, с винтовкой наперевес, с лицом, на котором нельзя было прочесть ничего. Он окинул взглядом новичков - Ивана и Диму - без насмешки, без жалости, с тем холодным, профессиональным вниманием, с которым снайпер осматривает местность перед выстрелом.

- Привыкнете - хорошо, - сказал он. - Главное - выживете.

- Учёный нашёлся, - проворчал Жук из-под кровати, вытаскивая ящик с патронами. - Ты, Луч, лучше скажи, сколько патронов брать. А то наберёшь лишку - полкилометра не пройдёшь.

- Триста, - ответил Луч не оборачиваясь. - На первый раз хватит.

Скворец вошёл в казарму, когда все уже были готовы. Он не торопился, обошёл строй, поправил Жуку наплечную лямку - та съехала набок, - кивнул Ивану, не говоря ни слова. Кивок получился коротким, одними бровями, но Иван понял: командир запомнил его и, кажется, одобрил.

- На выход, - сказал Скворец. - Машины у ворот.

Два слова - и строй зашевелился. Молча, без команды, сорок человек вышли из казармы, и морозный воздух ударил в лица, обжёг щёки, заставил прищуриться.

У ворот учебки стояли три «Урала-4320» - выдавшие виды, с облезлой краской, с тентами, на которых кое-где красовались заплаты из брезента. Дизели гремели на холостых, выхлопные трубы дышали белым паром в холодном, пред-рассветном воздухе. Октябрь в Ростовской области стоял сырой, зябкий, с низкими облаками, которые, давили на землю, но не мешали работать.

Иван запрыгнул внутрь - тяжело, с трудом, подтягиваясь на руках, потому что ноги в берцах скользили по металлическому борту. Помог Диме. Следом залезли Жук, Хмурый, Луч, ещё двое бойцов из их отделения - молодые, молчаливые, с одинаковым выражением сосредоточенности на лицах. Скворец захлопнул борт, постучал по крыше кабины три раза - и «Уралы» тронулись, дёрнулись, выравниваясь в колонну.

II

Ехали долго. Дорога сначала была асфальтовой - гладкой, ровной, какой-то даже мирной. Потом асфальт кончился, начался гравий, потом - разбитая грунтовка с колдобинами, лужами, колеями, в которых «Уралы» вязли и взрывывали моторами, выдираясь из грязи.

Сначала были поля - бескрайние, жёлтые от стерни, с редкими перелесками и фермами, которые казались вымерши-

ми. Потом началась лесостепь - невысокие деревья, овраги, балки, где ветер свистел особенно тоскливо. Иван вспомнил карту, которую показывали на инструктаже: Сватово, Кременная, Лиман. Куда именно они ехали, никто не уточнял. «На направление», - сказал Скворец коротко, и этого хватило.

- Вы только гляньте, - произнёс Хмурый, приоткрыв полог. - Край какой. Тихий.

- Тихий был до восемнадцатого, - отозвался Жук, и лицо его стало жёстким, замкнутым. Он воевал здесь, в Донбассе, ещё в семнадцатом, и эти места знал не по карте.

- И после был ничего, - Хмурый покачал головой. - А сейчас... сейчас земля плачет.

Иван прислушался. Земля гудела - не так, как в учебке, где это было просто глухое, смутное урчание, и не так, как в Калининграде, где гул шёл из древних глубин, из времён крестоносцев и пруссов. Здесь звук был другим - протяжным, больным, похожим на стон. Как будто под грунтом кто-то лежал, не переставая, годами, и не мог подняться, и просил помощи, но никто не слышал.

- Слышишь? - спросил Хмурый, глядя на Ивана в упор.

- Слышу, - ответил Иван, и в голосе его не было удивления - только принятие.

- Я тоже, - Хмурый вынул из кармана потёртую иконку Спаса Нерукотворного - маленькую, в жестяном окладе, с выцветшими красками, - перекрестился широко, с усердием,

по-старообрядчески. Иван заметил: пальцы у него не дрожали, хотя голос, когда он говорил об этой земле, был тише обычного.

- Молишься? - спросил Дима, глядя на иконку.

- А ты нет? - ответил Хмурый, убирая образок за пазуху.

- Зря. Там, куда мы едем, бог - единственный, кто не врёт. Пули врут, приказы врут, своё начальство врёт, чужое - тем более. А бог - нет.

Колонна свернула на разбитую дорогу, и «Уралы» закрипели, зашатались так, что Иван вцепился в скамью, чтобы не удариться головой о брезентовую дугу. Мимо начали попадаться воронки - свежие, с осыпавшимися краями, с чёрной, обожжённой землёй. Сгоревшая техника на обочинах: БТР с открытым люком, из которого на ветру трепыхалась какая-то тряпка; «Камаз» без кабины, с почерневшим двигателем, похожий на скелет доисторического животного; остов старой «буханки» с пулевыми отверстиями, аккуратными, как от колибри.

- Въезжаем, - сказал Луч, и в голосе его не было ничего - ни торжественности, ни страха, ни облегчения, только констатация факта.

- Куда? - спросил Дима, хотя, наверное, уже знал ответ.

- В зону, - ответил Луч, и слово это прозвучало не страшно - как диагноз, который уже поставили, но ты ещё не до конца осознал.

Въехали в село. Сначала Иван не понял - живое оно или брошенное. Дома стояли целыми, но окна были заколочены крест-накрест, палисадники заросли бурьяном в человеческий рост, ни одного человека на улице. Только собака бежала за «Уралом», худая, с поджатым хвостом, и лаяла беззвучно - не слышно было из-за рёва двигателей. Или потому, что голоса у неё уже не было.

- Люди есть? - спросил Иван.

- Есть, - ответил Скворец, который перебрался из кабины в кузов на ходу - ловко, по-кошачьи, перекинув ноги через борт. - Но они нас не ждут. И мы их не ждём. Война.

- И что с ними? - спросил Иван, и в голосе его послышалось не любопытство - беспокойство.

- Кто уехал, тот уехал. Кто остался - почему-то остался. А почему - не наше дело. Кто выживет - тот и будет жить. - Скворец отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

Въехали в лесополосу. Дорога стала уже, «Уралы» продирались через кусты, ветки хлестали по тенту, и в эти щели, в мелкие дыры от пуль и осколков, проникал холодный, сырой воздух с запахом прелых листьев, влажной земли и - неожиданно - дыма. Не печного, не от костра - горького, с нотками химии и жжёного пластика.

- Где-то горит, - сказал Жук, пригнувшись, как старый пёс.

- Пластмасса, - уточнил Луч. - Лампы, приборы, амуниция синтетическая. Или машина.

- Или человек? - спросил Дима, и голос его сорвался, стал тонким, мальчишеским.

Никто не ответил.

Иван в полумраке кузова прикрыл глаза. Крест под рубашкой нагрелся сильнее - уже не просто тепло, а жар, граничащий с болью. Иван сжал его через ткань, и вдруг увидел - не глазами, внутренним взором, тем особым зрением, которое открывается только когда касаешься святыни, - деревянную, разбитую артиллерией, свежую воронку в метре от окопа, чьи-то сапоги, торчащие из земли. Мелькнуло и пропало. Но он успел запомнить главное: это ещё не его бой. Это тот, кто был до него. Кого уже нет.

- Остановка! - крикнули из кабины.

«Уралы» замерли. Тишина навалилась такая резкая, что заложило уши. Скворец спрыгнул на землю, жестом велел всем выходить быстро, молча, без команд.

- Пеший марш-бросок до опорного пункта. Три километра. По одному, интервал десять метров. За мной.

IV

Иван спрыгнул последним. Ноги затекли, броник давил на плечи, казался свинцовым. Дима рядом дышал часто, как после кросса, но уже не боялся - просто тяжело, потому что воздух здесь был плотным, пропитанным гарью и пороховой взвесью.

Лесополоса тянулась вдоль поля, где там и сям чернели остовы подбитой техники - несколько БМП, танк с башней,

повёрнутой набок, два грузовика с почерневшими кабинами. В одном из них, показалось Ивану, кто-то сидел. Но он не стал всматриваться.

- Не смотрите на них, - тихо сказал Скворец. - Смотрите под ноги. И вперёд.

Они шли гуськом. Иван цеплялся взглядом за спину впереди идущего Луча - сухую, прямую, с винтовкой, которая покачивалась в такт шагам, - старался не спотыкаться на корнях, не проваливаться в ямы, не хрустеть сухими ветками. В лесу пахло гарью и плесенью, и где-то вдалеке, километрах в пяти, тяжело, с надрывом ухали орудия - негромко, как за стеной больничной палаты, где лежит тяжелобольной и стонет во сне.

- Сколько ещё? - спросил Дима шёпотом.

- Два километра, - ответил Хмурый, не оборачиваясь.

- Быстро идём.

- Для войны - не быстро, - сказал Хмурый. - Для войны - медленно. Но надо.

Они вышли из лесополосы на открытое пространство - поле, перепаханное окопами, ходами сообщения, воронками, заполненными ржавой водой. Солнце наконец пробилось сквозь тучи, но свет был жёлтым, маслянистым, каким бывает перед грозой - даже если грозы не обещали. Впереди, метрах в четырёхстах, темнели развалины дома: две стены, сложенные из красного кирпича, и кусок шиферной крыши, на которой болталась обгоревшая антенна.

- Там наши, - сказал Скворец. - Последний рывок. Без шума.

Они побежали. Перебежками, пригибаясь, падая, вставая. Иван бежал, чувствуя, как сердце колотится о грудину, как крест прыгает на верёвочке, нагреваясь всё сильнее, как броник сковывает движения, но не давит - просто напоминает, что он здесь не просто так. Споткнулся о какой-то ящик - от снарядов, пустой, лёгкий, - упал на колени, тут же вскочил. Дима подхватил его под руку, не спрашивая, не оглядываясь.

- Живой, дед? - только и спросил, запыхавшись.

- Живой.

Из развалин вышел боец в грязной, вылинявшей форме, с автоматом, с лицом, заросшим щетиной по самые глаза. Он кивнул Скворцу, махнул рукой - мол, заходите, чисто, - и скрылся обратно в темноту провала, из которого только что вышел.

Иван заскочил внутрь - в темноту, пахнущую сырой землёй, бетонной пылью и потом, человеческим потом, от которого уже не воротит, потому что он стал таким же привычным, как запах хлеба или дождя. Рухнул на бетонный пол, содрал каску и зажмурился от усталости, которая навалилась сразу, всей своей тяжестью, как только он понял: добежали, можно перевести дух.

Кто-то сунул ему в руку флягу. Иван глотнул - вода была тёплой, пахла железом и резиной, но живительной, как всякая вода после долгой дороги.

- Добрались, - сказал Хмурый, садясь рядом с ним на корточки. - Теперь держись, Береговой. Теперь начнётся.

- Что начнётся? - спросил Иван, и голос его был глухим, чужим, будто он спрашивал не у Хмурого, а у самого себя.

- Война, - Хмурый перекрестился, глядя в щель между стенами, откуда виднелся кусок жёлтого, маслянистого неба. - И чудеса. Здесь, - он постучал пальцем по виску, по шраму, оставленному осколком, - и здесь, - по груди, где под грязной рубашкой билось его сердце, - и в земле. В земле главным образом.

Иван прикрыл глаза. Крест лежал горячо, почти нестерпимо. Но он не снимал его. Он знал: тот, кого он ищет, где-то близко. Может быть, в соседнем окопе. Может быть, под этим самым домом, в подвале. Может быть, в плену, в лазарете, в безымянной могиле. Но жив. И земля - стонала, скулила, гудела - подтверждала это каждой своей клеткой, каждой частицей праха, в который когда-то превратятся все они, но пока ещё живые, дышащие, верящие.

Он сказал себе: «Начнём поиск завтра. А сегодня - выжить».

И закрыл глаза. Взвод вокруг него затихал - кто ел сухпай, кто заряжал магазины, кто просто сидел с открытыми глазами и смотрел в одну точку, в пустоту, в стену, в собственную память. Начало войны всегда похоже на начало жизни: сначала боль, потом темнота, потом - свет. Или забвение.

Крест под рубашкой не давал забыть.

ГЛАВА 6. Первое чудо

I

Опорный пункт, в котором они укрылись, был когда-то домом лесника - об этом говорили остатки печи, сложенной из старого, ещё прусского кирпича с клеймом кайзеровских заводов, да проржавевшая табличка на стене с надписью на двух языках, которую никто уже не мог разобрать. Теперь от строения остались только цокольный этаж, приземистый, вросший в землю по самые окна, да два угла, сложенных из того же тёмно-красного, обожжённого временем кирпича, который словно бы держал стену на честном слове, не давая ей окончательно рухнуть.

Подвал, куда Иван спустился с остальными, был сырым, холодным, пахло гнилью - чем-то органическим, давно разложившимся, может быть, крысой, которая забилась в угол и не смогла выбраться, - мышами, которые шуршали по углам, и сырой, тяжёлой землёй, пахнущей так, как пахнет вся земля на этой войне: порохом, железом и тем особым, кисловатым запахом, который остаётся после разрыва снаряда, когда взрывная волна выворачивает грунт наизнанку, обнажая то, что было скрыто годами, а то и веками. Сверху доносился негромкий, цокающий звук - дождь, или не дождь, а мелкие осколки, которыми осыпало крышу после дальнего разрыва. Иван так и не понял, что это было.

Он сидел в углу, прислонившись спиной к бетонной сте-

не - холод пробирал даже сквозь броник, сквозь разгрузку, сквозь тельняшку, насквозь, до самых костей. Броник он не снял - никто не снимал. На войне бронежилет снимают только мертвецы, да и то не всегда. Только каски отстегнули, чтобы хоть немного проветрить головы, потому что под каской через час начинало парить, и пот заливал глаза, и ничего не было видно, а видеть здесь нужно было каждую секунду.

Дима рядом жевал сухарь - грыз его медленно, со скрежетом, крошки сыпались на разгрузку, на колени, на бетонный пол, и Иван смотрел на эти крошки, думая о том, что, может быть, через час ни Димы, ни его самого уже не будет, а крошки так и останутся лежать на этом полу, и никто их не подметёт. Хмурый чистил автомат, хотя тот блестел и так - блестел так, что и протирать-то было незачем, но Хмурый чистил, потому что чистить оружие перед боем - это не гигиена, это молитва. Своя, особая, без слов, но с понятным только посвящённым смыслом.

Луч спал - или делал вид, что спит - положив винтовку на колено, обхватив её руками, как ребёнок обхватывает плюшевого мишку. Спал он с открытыми глазами - Иван заметил это, когда луч фонарика на секунду скользнул по его лицу: глаза были открыты, но ничего не видели, смотрели куда-то внутрь, в себя, туда, где снайперы хранят свои прицелы и мишени.

Жука не было. Жук остался наверху, в дозоре - самый опытный водитель, но и стрелять умел, и в разведку ходил, и

в дозоре стоял так, что не подкопаешься. Он сидел на крыше, на той самой, дырявой шиферной крыше, откуда открывался обзор на поле и развалины, куда завтра - уже сегодня - должен был идти штурм.

Скворец собрал отделение у дальней стены, расстелил карту - потрёпанную, с пятнами, с карандашными пометками, с вырванными краями, которые кто-то жевал от нервов. Иван подошёл, присел на корточки, стараясь не наступать на чужие ноги. Света не зажигали - только тусклый фонарик, который командир прикрыл ладонью, чтобы свет не уходил в щели, не выдавал их позицию тем, кто, может быть, уже сидел в засаде и ждал.

- Завтра на рассвете штурм, - сказал Скворец тихо, почти шёпотом, но так, что каждое слово слышалось отдельно, врезалось в память, как клеймо. - Вон те развалины, - он ткнул пальцем в точку на карте, где было нарисовано что-то похожее на дом, - занимает противник. Окопы, пулемётное гнездо, возможен миномёт. Наша задача - зачистить и закрепить. Идём втроём: я, Луч, Хмурый. Береговой и Корецкий - прикрытые, остаётесь здесь вместе с Жуком, на подхвате. Если кого ранят - вытаскивать вам. Поняли?

- Понял, - ответил Иван, и голос его не дрогнул, хотя внутри всё сжалось в тугую, холодный комок.

Дима кивнул, побледнев так, что веснушки на его лице стали видны как никогда - ярко, отчётливо, по-детски. Ему, двадцатипятилетнему парню, который два года назад ещё

пил пиво с однокурсниками и спорил о смысле жизни, ещё ни разу не приходилось вытаскивать раненых. Он даже не представлял, каково это - когда из человека, который только что был живым, смеялся, курил, ругался матом, хлещет кровь, тёмная, густая, пахнувшая железом и ещё чем-то сладковатым, и ты пытаешься зажать эту рану грязными руками, а она не зажимается, кровь идёт и идёт, и человек бледнеет, и глаза его становятся стеклянными, и он шепчет: «Мам, мама...»

- Береговой, у тебя аптечка штатная? - спросил Хмурый, отрываясь от своего автомата.

- И своя есть, - ответил Иван.

- Дай посмотрю.

Иван расстегнул подсумок - липучка закрипела, отклеиваясь. Хмурый, не спрашивая разрешения, вытряхнул содержимое на бетонный пол: жгуты, бинты, перекись, пластырь, ножницы, обезбол в ампулах, йод, порошок какой-то гемостатический. Перебрал быстро, ловко, профессионально, как фельдшер на сортировке.

- Сработано, - одобритительно кивнул он, ощупывая жгуты, разворачивая один из них, проверяя, не рассыпалась ли резина. - Кровоостанавливающие есть?

- Жгут альпинистский, два турникета.

- Молодец. - Хмурый собрал всё обратно, застегнул подсумок и вернул Ивану. - На войне это главное. Не патроны - бинты. Патроны кончаются, а людей всегда много. И крови

в человеке - ой как много, если не знать, где какие сосуды проходят.

II

Ночь прошла тревожно. Иван не спал - вслушивался в землю. Она гудела - не переставая, не замолкая ни на секунду, ровно, как будто где-то глубоко, в самом ядре, работал тяжёлый пресс, разминающий каменные пласты. Иногда звук прерывался коротким, резким хлопком - очередной прилёт, где-то далеко, километрах в пяти, а может, и в десяти. Тогда земля вздрагивала, и Иван чувствовал это всем телом - рёбрами, позвоночником, затылком, даже сквозь бетон, даже сквозь толстые стены подвала, который, должен был отсекал всё на свете.

Он вспоминал Калининград. Мать, наверное, не спала - сидела у телефона, выключив звук, но глядя на экран, как на икону, ждала вестей. Ольга, наверное, тоже не спала - укладывала Сашу, читала ему сказку про трёх поросят или про колобка, а сама думала: «Вернётся ли отец?». Не думала, конечно. Знала. Все женщины на войне знают, но не говорят. Потому что если сказать вслух, то, может быть, не вернётся, а если молчать и делать вид, что ничего не происходит, то, глядишь, обойдётся.

Крест под рубашкой нагревался волнами - то сильнее, то слабее, как пульс, как сердцебиение, как чьё-то дыхание, которое пытается пробиться сквозь толщу земли, сквозь тысячи километров, сквозь время и пространство. Иван сунул

руку за пазуху, сжал его - металл был горячим, живым, трепещущим. И в ответ на его прикосновение пришло не тепло - образ. Короткий, рваный, похожий на обрывок старой киноплёнки, которая горела и плавилась на проекторе: тёмный подвал, капли воды, падающие с потолка в лужу, человек, скорчившийся в углу. Тот самый Алексей. Он был в сознании - Иван видел, как блестят его глаза в темноте, - но не двигался. Руки замотаны грязными бинтами, пропитанными кровью и гноем. Рядом - женщина с ребёнком. Женщина прижимала мальчика к груди, закрывая его собой, как щитом. Иван не успел разглядеть их лиц - видение пропало, оставив после себя горький, металлический привкус во рту, похожий на вкус крови.

- Ты чего, Береговой? - спросил Хмурый, заметив его вздрагивание. Старый солдат сидел напротив, не сводя с Ивана глаз.

- Вспомнил кое-что, - ответил Иван, и голос его прозвучал глухо, чуждо, будто он говорил не сам с собой, а с кем-то, кто стоял за его спиной.

- Маму? - спросил Хмурый, и в его вопросе не было насмешки - только понимание.

- Почти, - сказал Иван.

Хмурый не стал расспрашивать. Он вообще не был любопытным - старый солдат, знал, что лишнее любопытство на войне убивает быстрее пули. Убивает того, кто спрашивает, и того, кто отвечает, и всех, кто рядом, потому что любопыт-

ство - это отвлечение, а отвлечение - это смерть.

За час до рассвета Скворец поднял всех. Молча - не потому, что не мог говорить, а потому, что слова уже не нужны были, всё и так понятно. Одними жестами, одними движениями бровей и губ, одними взглядами, которые в темноте видели даже те, кто смотрел в другую сторону. Иван натянул каску - та села на голову тяжело, как чугунный колокол, - передёрнул затвор автомата. Патрон дослался с металлическим лязгом, который показался ему оглушительным, как выстрел из пушки. Но вокруг всё так же было тихо - только ветер гулял по развалинам, завывая в пробитых стенах, да где-то далеко, очень далеко, хлопал одинокий выстрел, похожий на удар хлыста.

- Пошли, - сказал Скворец, и голос его был не громче шёпота, но слышен был на сто метров вокруг.

Трое - командир, Луч, Хмурый - выскользнули в серый предрассветный сумрак, растворились в нём, как тени, как призраки, как те, кого уже нет и не было. Иван и Дима остались у входа, прижавшись к холодной, шершавой стене, на которой кто-то когда-то нацарапал ножом или штыком чьё-то имя - разобрать было невозможно. Жук сидел на крыше, за пулемётом, который он притащил откуда-то и установил так, чтобы сектор обстрела перекрывал и поле, и развалины, и лесополосу, откуда, по идее, должны были прийти основные силы противника.

Первые минуты ничего не происходило. Иван смотрел на поле, поросшее бурьяном и полынью, на воронки, похожие на оспины на лице больного, на остовы машин, которые чернели на фоне серого неба, как скелеты доисторических животных. Серый свет медленно наливался, разгоняя тьму, превращая тени в предметы, неопределённость - в опасность.

В развалинах впереди, метрах в двухстах, мелькнула чья-то тень. Потом ещё одна. Свои или чужие - непонятно. Иван поднял автомат, прицелился, стараясь держать ствол ровно, не дышать, не моргать. Руки дрожали - не от страха, нет, от холода, который за ночь выстудил всё, что можно, и от напряжения, когда каждый мускул зажат, как пружина, готовая разжаться.

Крест на груди вдруг резко нагрелся, как будто его бросили в кипяток. Металл обжёг кожу даже через ткань тельняшки. Иван дёрнулся, сбил прицел - и в тот же миг слева, в двадцати метрах, грохнуло так, что заложило уши, и взорвалась земля. Не громко, не тяжело - хлёстко, как удар бича. Мина. Лёгкая, миномётная. Осколки прожужжали над головой, впились в стену, оставив в бетоне мелкие, белые кратеры.

- Ложись! - крикнул Жук с крыши, и Иван, не думая, рухнул на бетонный пол, увлекая за собой Диму. Сверху посыпалась пыль, куски штукатурки, мелкий щебень.

Где-то в поле застрочил автомат - коротко, нервно, как стучит дятел по дереву. Иван высунулся из-за угла, насколько

ко это было возможно, и увидел: Скворец и Хмурый залегли за воронкой, ведут огонь на подавление, а Луч, снайпер, сиганул к брошенной машине, укрылся за её задним колесом и уже прицелился.

- Раненый! - крикнул Хмурый, не оборачиваясь. - У меня раненый! Береговой, ко мне!

Иван не думал. Не рассуждал, не взвешивал, не прикидывал - вскочил и побежал. Не пригибаясь, не перебежками от укрытия к укрытию, не ведя ответный огонь для прикрытия - просто встал и побежал через поле, к воронке, где лежал Хмурый, прижимая к земле чьё-то тело. Пули свистели рядом, взбивали землю у самых ног, и от каждой такой пули земля вздрагивала, выбрасывая вверх фонтанчики грязи. Иван чувствовал, как пули проходят сквозь воздух - горячие, злые, слепые, - и почему-то не боялся. Потому что крест на груди стал не тёплым - ледяным. Он вытягивал из Ивана страх, выпивал его, высасывал, как паук высасывает муху, оставляя только холодную, звериную ясность, в которой есть только цель и путь к ней, и ничего больше.

Он упал рядом с Хмурым, перекатился на бок, уходя с линии огня. Раненым оказался молодой боец из соседнего взвода - не из их отделения, луганчанин, позывной «Рыжий». Штанина на правой ноге была разодрана в клочья, и выше колена хлестала кровь - тёмная, густая, пульсирующая. Артерия, понял Иван. Не раздумывая, сорвал с пояса турникет, наложил выше раны, затянул так, что резина закрипела.

Хмурый помог, придерживая ногу, чтобы Иван мог затянуть потуже, ещё туже, до хруста.

- Тащи его назад, - сказал Хмурый, не повышая голоса, но в этом спокойствии было больше приказа, чем в любом крике. - Я прикрою.

- А ты? - спросил Иван, уже беря раненого за плечи.

- Делай, что говорят, - ответил Хмурый и, отвернувшись, выпустил длинную очередь в сторону лесополосы.

Иван взвалил раненого на плечо - луганчанин был молодой, жилистый, лёгкий, но без сознания, и от этого весить начинал вдвое больше, потому что тело не помогало, обвисало тряпкой. Кровь текла сквозь турникет - не фонтаном, как было, а тонкой струйкой, но всё равно текла, капала на землю, на траву, на камни.

Иван побежал обратно. Теперь он пригибался - не потому, что боялся, а потому что вес мешал, ноги вязли в рыхлой земле, то и дело натыкались на корни, на камни, на осколки. Пули всё так же свистели, взбивали землю вокруг, но ни одна не попала. И тогда Иван понял, что это не случайность.

Крест на груди стал горячим снова - невыносимо, нестерпимо горячим, как будто в него вложили все теплоты мира, все пожары, все костры, все солнца, какие только существуют.

И он увидел.

Краем глаза, левым, которым он почти не видел из-за налипшей грязи, краем сознания, которое уже не принадлежа-

ло ему, а стало частью чего-то большего, он увидел фигуру. Мужчина в телогрейке образца сорок третьего года, в пилотке с красной звездой, с ППШ за спиной, в кирзовых сапогах, которые истоптаны так, что в них можно было обойти всю Европу и половину Азии. Он шёл впереди Ивана, заслоняя его собой, - широкий, костистый, с чёрными от угля и пороховой копоти руками. Одна рука была поднята - и когда очередная пуля летела в сторону Ивана, дед отводил её ладонью, как ветку, как сухой лист, как назойливую муху, которая не понимает, что ей здесь не место.

За дедом, чуть поодаль, стоял другой. Этот был старше - намного старше, так что возраст его нельзя было определить ни по фигуре, ни по походке, ни по тому, как он держал свой меч, опущенный в землю. Он был в кольчуге, в шлеме с бармицей, с лицом, скрытым за щелью для глаз, из которой горел ровный, спокойный, немигающий огонь. Прямой, как берёза, неподвижный, как скала. Он не шёл - он охранял. Следил, чтобы никто не подошёл сзади, чтобы ни один враг не зашёл с фланга, чтобы ни одна пуля не достигла цели.

Иван пробежал до подвала. Сбросил раненого на руки Димы и Жука - те подхватили, потащили вглубь, в темноту, где уже готовили перевязочные материалы. Сам рухнул на пол, больно ударившись коленом о бетон. Крест на груди остывал, возвращаясь к обычному теплу - живому, успокаивающему.

- Ты как, Береговой? - спросил Жук, перевязывая луган-

чанина, и в голосе его послышалось уважение.

- Цел, - выдохнул Иван. - Странно, но цел.

- Тебя Бог любит, - сказал Жук, и в этом не было ни насмешки, ни сомнения - спокойная констатация факта, которую он, ветеран двух войн, мог позволить себе только перед лицом очевидного чуда.

Иван посмотрел на поле. Там, в дыму разрывов, в пыли, поднятой автоматными очередями, дед в телогрейке уже исчез. И воин в кольчуге тоже. Только земля гудела - ровно и устало, как будто плакала, как будто оплакивала всех, кто остался лежать на ней навсегда, и тех, кто ещё только должен был лечь.

IV

Бой закончился через час. Потери были - двое убитых в соседнем взводе, ещё до того, как Иван успел выбежать в поле. Они лежали там, накрытые плащ-палатками, и ждали эвакуации, которой не было уже вторые сутки. Трое раненых, в том числе луганчанин, которого вытащил Иван. Скворец вернулся целым, но грязным - лицо в копоти, гимнастёрка порвана на рукаве, губа разбита, заплыла синим. Луч принёс трофейный автомат - короткий, с глушителем, как у спецназа, - и пакет с документами убитого. Сказал коротко: «Для разведки».

В подвале Иван сидел на ящике из-под снарядов, тупо глядя в стену. Руки тряслись - не от страха уже, нет, от адреналина, который вымыл всё, что можно было вымыть, и теперь

организм приходил в себя, как после долгой, изнурительной болезни. Дима подал ему кружку воды - тёплой, пахнувшей железом, - и Иван выпил, не чувствуя вкуса.

Прошло несколько минут, а может, и полчаса - время в подвале потеряло свой ход.

- Там, - спросил Дима шёпотом, когда все немного отошли, и шум боя перестал отдаваться в ушах, - ты кого видел?

- Что? - Иван поднял глаза, не сразу понимая, о чём речь.

- Ты бежал, и я видел. С тобой кто-то был. Старик. В пиlotte. И дядка в железе. Я видел, Береговой, не ври.

- Померещилось, - ответил Иван, но сам не поверил своим словам.

Дима покачал головой, но спрашивать больше не стал. Не время было - и не место.

Хмурый подсел к Ивану, достал сигарету, закурил. Иван отвернулся от дыма - не потому, что не переносил, а из привычки, вьёвшейся с детства, когда отец курил «Беломор» и мать говорила: «Отойди, Саша, дым вредный». Хмурый заметил, подвинулся, бросил окурочок в щель и придавил подошвой.

- Не куришь, Береговой?

- Нет, - ответил Иван. - И не начинал.

- Хвалю, - Хмурый помолчал, глядя в потолок, в бетонные плиты, которые, давили на них всей своей тяжестью. - Я твоего старика видел. И воина в железе.

Иван промолчал. Что тут было говорить? Сказать «да, они

приходят ко мне, когда я в опасности» - значит, признаться в том, что не укладывалось ни в какие рамки, даже в рамки войны, где всякое бывало.

- Ты думаешь, тебе одному они являются? - Хмурый усмехнулся, но без насмешки, с той особенной, грустной усмешкой человека, который слишком много видел и слишком много понял, чтобы смеяться над другими. - Я в Чечне такое видел. Мать с младенцем на дороге. Вывела колонну из засады. А когда колонна прошла, я обернулся - нет никого. И младенца не было. И матери. Только дух.

Иван молчал, слушая, как земля гудит под бетонным полом, как стучит где-то далеко миномёт, не то свой, не то чужой.

- И что это значит? - спросил он наконец.

- А то, Береговой, что ты неспроста здесь, - Хмурый посмотрел на него в упор, и в его мутном, выцветшем глазу зажёгся тот самый огонь, который Иван видел в щели шлема древнего воина. - Неспроста взял крест. У тебя миссия. А эти, - он кивнул на поле, где уже никого не было, - они помогают. Потому что ты делаешь их дело.

- Какое дело? - спросил Иван, хотя уже догадывался.

- Спасаясь, - Хмурый закурил новую сигарету, но тут же затушил, не сделав ни затяжки, и спрятал окурки в карман, чтобы не насорить. - Живых. И мёртвых. Человечность спасаешь. А это, брат, самое трудное дело на войне. Труднее, чем стрелять. Труднее, чем командовать. Труднее, чем уми-

рать.

Они помолчали. Тишина в подвале стала другой - не тяжёлой, не гнетущей, а какой-то очищенной, светлой.

- Тот луганчанин, которого ты вытащил, - сказал Хмурый, вставая, чтобы размяться, - выживет. Я сказал медикам. А если бы не ты - истёк бы кровью за пять минут. Понял?

Иван кивнул. Крест под рубашкой снова стал тёплым, но теперь - другим теплом. Не тем, которое предупреждало об опасности, и не тем, которое жгло во время бега под пулями. Тёплым, как улыбка. Благодарным. Как будто дед в телогрейке и воин в кольчуге одобрили его поступок. Как будто все, кто когда-то носил этот крест, все, кто молился на него, все, кто умирал с ним на груди, сказали: «Правильно, Иван. Так и надо».

Он закрыл глаза и впервые за много часов позволил себе вздохнуть ровно - не глубоко, нет, глубоко нельзя было, болели рёбра, намётанные бронежилетом, но хотя бы ровно, без надрыва, без того хрипа, который появляется, когда лёгкие работают на пределе.

Война продолжалась. Предки вступили в игру. И Иван знал: это только начало.

ГЛАВА 7. Первая смерть

I

После боя наступило затишье. Оно всегда приходит внезапно - как будто кто-то огромный и неведомый, засидев-

шийся за пультом войны, устал и решил выключить звук одной кнопкой. Ещё вчера, ещё сегодня утром стреляли, рвались мины, хрипели рации, командиры орали так, что голоса срывались на хрип и мат. А теперь - тишина. Только ветер свистит в пробитых стенах, подвывая в щелях, как бездомная собака, потерявшая хозяина, да где-то далеко, за горизонтом, ухаёт тяжёлая артиллерия - так далеко, что звук похож не на войну, а на грозу в горах, когда раскаты перекатываются от ущелья к ущелью, теряя силу, превращаясь в эхо.

Иван сидел на ящике в подвале - на том самом, из-под снарядов, с которого ещё не соскоблили наклейки с маркировкой, - и перебирал патроны. Делал это медленно, сосредоточенно, как учил Хмурый: магазин - на левую ладонь, патрон - в правую, осмотреть гильзу на предмет помятости, проверить, нет ли зелёного налёта на латуни, нет ли царапин на пуле. Хороший патрон - в магазин, плохой - в отдельную кучку, потом разберут. Дима рядом чистил автомат - разобрал его до последнего винтика, протёр ветошью, смазал, собрал, опять разобрал, потому что делать больше было нечего, а сидеть без дела на войне страшнее, чем под пулями.

- Слушай, Береговой, - начал Дима и замолчал на полуслове, уставившись в затворную раму, которую держал в руках.

- Говори, - сказал Иван, не поднимая головы.

- Ты вчера... того деда. Во сне видел или наяву?

Иван отложил магазин - тяжёлый, полный, пахнущий порохом и медью, - достал флягу, открыл крышку, отпил гло-

ток тёплой воды, которая успела нагреться за день, и снова закрутил крышку.

- Наяву, - сказал он наконец, и голос его не дрогнул. - Но не смотри на меня так, будто я жалуясь на галлюцинации. Я не сумасшедший.

- Я и не смотрю, - Дима помолчал, вытер руки о ветошь, отложил автоматную раму. - Просто страшно. Война - это одно. Это понятно. Пули, снаряды, приказы, мат-перемат. Всё ясно. А тут... непонятно. Как будто мы не одни.

- Когда станет понятно, будет поздно, - сказал Иван, и в этой фразе не было ни загадочности, ни позы - только та горькая уверенность человека, который уже начинал понимать, что война - это не только то, что видишь глазами, но и то, что чувствуешь кожей, что слышишь землёй, что угадываешь сердцем.

Из угла, где спал в обнимку с автоматом Хмурый, привалившись спиной к бетонной стене и натянув каску на глаза, послышалось хриплое, прокуренное:

- Не каркай, Береговой. И без тебя тошно.

- Я не каркаю, - ответил Иван спокойно. - Я предупреждаю.

Хмурый приоткрыл один глаз - мутный, с бельмом, с той особенной пустотой, которая бывает у людей, слишком долго смотревших на смерть. Приоткрыл и посмотрел на Ивана долгим, изучающим взглядом - не злым, не добрым, а таким, каким смотрят старые мастера на молодых учеников, прове-

ряя, есть ли в них толк.

- Сегодня в разведку идём, - сказал он и снова закрыл глаз.
- Не выплусь - убью. Лично. И не смотри на меня так, я не шучу.

И отвернулся к стене, давая понять, что разговор окончен. Но Иван заметил - Хмурый не спал. Дышал ровно, но не спал. Слушал. Всё слышал. Всё запоминал.

II

К вечеру пришло пополнение. Несколько человек из другого взвода, переброшенных с соседнего участка, где, говорят, было немного тише, чем здесь, но тоже не курорт. Они спрыгивали с борта «Урала», поправляли разгрузки, оглядывались по сторонам, принюхивались к запахам - к гари, к пороху, к той особенной, сладковатой вони, которая остаётся там, где недавно было свежее мясо и свежая кровь.

Среди них был молодой парень, совсем мальчишка, с редкими усиками, которые топорщились над верхней губой, как первые всходы на бедной почве, и дробовиком, висящим на животе. Дробовик был старый, охотничий, с потёртым прикладом и нацарапанной на стволе датой, которую Иван разглядеть не успел. На вид парню было девятнадцать, не больше - худой, узкоплечий, с большими, испуганными глазами, которые смотрели на мир так, будто этот мир вот-вот ударит, и нужно успеть увернуться.

Он поздоровался со всеми, не глядя в глаза, козырнул как-то неловко, по-граждански, и сразу сел в угол, поджав коле-

ни к подбородку, обхватив их руками и положив подбородок на колени. Сел так, как садятся дети, когда им страшно и хочется стать маленькими, незаметными, чтобы никто их не трогал.

Иван подошёл к нему, присел на корточки.

- Как позывной? - спросил он. Не громко, не командным тоном, а так, как разговаривают с перепуганным щенком, чтобы он понял - свои, не тронут.

- Ёжик, - ответил парень, и в голосе его послышалось удивление - откуда, мол, вы знаете, что меня так зовут?

- Сам придумал или дали?

- Сам, - Ёжик даже улыбнулся - быстро, напряжённо, как будто разрешил себе слабость, которую тут же раскаялся. - Колючий, маленький, быстро бегаю. Думал, смешно будет.

- Смешно, - серьёзно сказал Иван. - Из Ульяновска?

- Ага, - Ёжик кивнул. - По мобилизации. В октябре призывали, месяц в учебке, и вот... сюда.

- Сколько лет? - спросил Иван, хотя знал ответ заранее - такие не бывают старше двадцати.

- Двадцать два, - ответил Ёжик, и в голосе его послышалась обида - как же, взрослый уже, а спрашивают, как школьника.

- Не похоже, - сказал Иван честно. - На восемнадцать тынешь. Может, на семнадцать.

- Я первый в очереди, когда паспорт показываю, - Ёжик улыбнулся уже свободнее, но тут же спрятал улыбку, словно

вспомнил, где находится. - Все говорят - молодой.

- Молодой - не значит плохой, - сказал Иван, вставая. - Держись меня. Если что - рядом буду.

Ёжик кивнул. Сказал «спасибо» - тихо, одними губами. И снова уткнулся лицом в колени.

К ночи Скворец собрал всех на короткое совещание. Развалины освещала только луна - тусклая, жёлтая, пробивавшаяся сквозь низкие, рваные тучи, которые то набегали, то уходили, оставляя после себя мокрые пятна на стенах. Командир сидел на корточках, чертил прутиком на земле схему - кривые линии, кружочки, стрелки, обозначавшие позиции, направления, сектора обстрела.

- Завтра на рассвете - зачистка лесополосы, - сказал он, и голос его был тихим, спокойным, без пафоса, без надрыва - так врач сообщает диагноз, который уже не исправишь. - Противник окопался в трёхстах метрах к северу. Разведка подтвердила - до взвода пехоты, не больше. Два пулемёта, возможно, миномёт. Наша задача - выбить. Идём всем отделением. Береговой, ты со мной.

- Понял, - ответил Иван.

- За старшего остаётся Жук, - продолжал Скворец, чертя на земле пару кружков, обозначавших подвал и выходы из него. - Он раненых вытаскивает. А ты, - он поднял глаза и посмотрел на Ёжика, который сидел в углу, прижавшись к стене, - ты в первой цепи. Дробовик на короткой дистанции - хорошо, если враг в упор. Но не геройствуй. Понял?

- Понял, - сказал Ёжик, и голос его дрожал. Но сидел он прямо, не сутулился, на колени не смотрел - смотрел на схему, на командира, на солдат, которые завтра пойдут с ним в бой.

- Вопросы? - спросил Скворец, оглядывая строй.

Вопросов не было.

Ночь прошла тревожно. Иван не спал - смотрел на небо через пролом в крыше, на звёзды, которые в этом южном краю были крупнее и ярче, чем в Калининграде, и лежали так низко, что до них можно дотянуться рукой. Крест под рубашкой лежал спокойно - ни холода, ни жара, ни той особенной вибрации, которая предвещала опасность. «Значит, ничего не будет, - подумал Иван. - Или всё будет, но предки молчат. Им, наверное, тоже нужно иногда отдыхать».

Он ошибся.

III

Атака началась не на рассвете - на восходе. Солнце только показалось из-за горизонта, красно-жёлтое, маслянистое, как желток разбитого яйца, когда по цепи закричали «Вперёд!» - и они побежали. Не в полный рост - перебежками, пригибаясь, падая, вскакивая, снова падая, тяжело дыша и матерясь сквозь зубы. Земля хлюпала под ногами - после вчерашнего дождя она стала вязкой, как кисель, и ноги тонули в ней по щиколотку, выдирая из грязи с чавкающим звуком.

Иван бежал за Скворцом, стараясь не отставать, держа ав-

томат наизготовку. Крест на груди молчал - ни жара, ни холода. Только тяжесть, обычная тяжесть металла на шнурке.

Первую очередь дали с левого фланга. Пули засвистели над головой, ударили в землю, взбивая фонтанчики грязи, и Иван, не думая, рухнул на землю, вжался в неё, чувствуя, как сердце колотится о рёбра. Хмурый ответил короткой очередью - сухо, деловито, как отбивают такт метрономом. Луч с фланга прикрывал, бил одиночными, и каждый его выстрел был как удар хлыста - точный, короткий, смертельный.

- Ложись! - заорал кто-то, и Иван, подняв голову, успел заметить фигуры в зелёнке, бегущие через поле, перекаты- вающиеся, падающие, снова бегущие.

Рядом упал Ёжик - глаза бешеные, зрачки расширены, челюсти сжаты так, что желваки пошли ходуном. Дробовик в его руках дрожал мелкой, частой дрожью, как будто ствол был живой и сам боялся.

- Не бойся, - сказал Иван, перекрикивая стрельбу.

- Спасибо, - выдохнул Ёжик, и в этом выдохе было столько благодарности, сколько Иван не слышал от взрослых мужиков, прошедших Афганистан и Чечню.

Они пролежали минут десять, пока пулемёт с той стороны не затих - Луч снял его с третьего выстрела, и пулемётчик, наверное, даже не понял, откуда пришла смерть. Хмурый махнул рукой - вперёд! - и Иван вскочил, побежал, пригибаясь, переставляя ноги, которые скользили и падали. Ёжик был справа, тоже бежал, пригнувшись, сжимая дробо-

вик обеими руками, как самое дорогое, что у него было.

И тогда это случилось.

Очередь пришла не оттуда, откуда ждали, - с фланга, из кустов, которые уже успели зачистить, но, видимо, не до конца. Короткая, прицельная, профессиональная. Три пули. Иван почувствовал кожей, как они прошли мимо - горячие, визжащие, пахнувшие медью и кордитом. И услышал звук, который запомнит на всю жизнь, до самой смерти, до того самого последнего вдоха, когда время останавливается и всё, что было, проносится перед глазами: мокрый, хлюпающий удар по телу - такой звук издаёт бифштекс, брошенный на раскалённую сковороду, только там шипит жир, а здесь хлюпала кровь.

Ёжик упал. Он не закричал - просто сложился, как подкошенный, как карточный домик, в который дунули, и рухнул лицом в грязь, в чавкающую, чёрную, жирную землю, которая не спрашивает, кто ты и сколько тебе лет, она просто принимает всех.

Иван кинулся к нему, перевернул на спину - тяжело, потому что мёртвое тело тяжелее живого в два раза, - и увидел: парень смотрел в небо, в серое, низкое, безжалостное небо, и глаза его уже мутнели, затягивались плёнкой, теряли цвет, превращаясь в стекло. Кровь хлестала из шеи - пуля перебила сонную артерию, и она била, пульсировала, выбрасывая из раны тёмные, густые, почти чёрные струи.

Иван нажал рукой на рану, зажал, как мог, но понял сразу:

бесполезно. Слишком много крови, слишком быстро, давление слишком высокое. Он выхватил турникет - и замер. Куда его накладывать? На шею? Не наложишь. На шею турникет не накладывают. На шею - только бинт, давящая повязка, молитва да чудо.

- Держись, - сказал Иван, и голос его был чужим, далёким. - Сейчас медика позову. Сейчас санитаря. Держись, Ёжик.

Ёжик шевельнул губами - раз, другой. Что-то прошептал, но слов Иван не разобрал. Может, «мама», может, «Господи», может, просто имя, которое никто никогда не узнает. И затих. Глаза его остались открытыми, смотрели в небо, но уже ничего не видели.

Иван сидел над ним, в грязи, в крови, в этой чёрной, липкой жиже, и не мог пошевелиться. В ушах звенело - не от выстрелов, от пустоты, которая вдруг образовалась там, где только что был звук, и этот звон был похож на отпевание, на колокол, на последний звонок в школе, из которой уходят навсегда. Рядом уже бежал фельдшер, кричал что-то, отталкивал Ивана, расстёгивал Ёжику ворот, но Иван уже знал - поздно. Он успел разглядеть лицо фельдшера, молодого, с красными от недосыпа глазами, и выражение этого лица: безнадёжность. То самое выражение, которое бывает у врачей, когда пациент уходит у них из рук, а они не могут ничего сделать, потому что смерть быстрее.

IV

Бой закончился через час. Их сторона заняла лесополо-

су, противник отошёл, потеряв четверых - может быть, больше, Иван не считал. Наши тоже потеряли: Ёжика и ещё одного бойца из соседнего взвода, которого Иван даже не успел запомнить - ни лица, ни имени, ни позывного. Просто ещё один молодой парень, который пришёл с пополнением и через сутки уже лежал на земле, накрытый плащ-палаткой, ожидая эвакуации, которой всё не было.

В подвале стояла тишина - не та, мирная, домашняя, когда слышно, как муха бьётся о стекло, а та, особая, послебоевая, когда люди не говорят, потому что не о чем. Хмурый стоял у стены, прислонившись спиной к бетону, и глядел в одну точку - в щель, через которую было видно кусочек серого, низкого неба. Луч сидел на ящике, механически перебирал винтовку - чистил, смазывал, собирал, хотя винтовка была чистой, он просто не знал, что делать с руками, когда не нужно стрелять. Скворец вышел на улицу, достал флягу, долго пил - жадно, большими глотками, как пьют воду после долгой жажды, - но вода не помогала, и он стоял, глядя вперёд пустыми, ничего не видящими глазами.

Потом вернулся, скомандовал:

- Тело в морг. Взводу готовиться к обороне.

Ёжика унесли - двое бойцов из соседнего отделения, молча, осторожно, как будто боялись разбудить. На бетонном полу осталась только тёмная лужа, которая медленно впитывалась в пористый, шершавый бетон, и запах - железо, порох, и ещё что-то сладковатое, тошнотворное, от чего у Ивана за-

крутило в животе.

Иван сидел в углу, привалившись спиной к стене, и сжимал крест. Не молился - не умел. Просто держался за металл, как за последнюю нить, которая связывала его с теми, кто был до него, кто прошёл через это и остался человеком. Предки молчали - ни видений, ни знаков, ни того особенного тепла, которое появлялось в минуты опасности. Земля гудела - низко, скорбно, как будто оплакивала парня, которого Иван не успел спасти.

- Береговой, - позвал Хмурый, и голос его прозвучал глухо, будто шёл не из горла, а из какой-то старой, заржавевшей трубы.

Иван поднял глаза. Хмурый стоял над ним - седой, страшный, с мутным глазом, в котором застыла тоска, такая глубокая, что в ней можно было утонуть.

- Не думай, что мог сделать больше. Ты не бог. И не ангел-хранитель. Ты просто человек, который успел, кого успел.

- А кто тогда? - спросил Иван, и голос его сломался, превратившись в шёпот.

- Никто, - Хмурый сел рядом, тяжело, с кряхтением, как садятся старики на лавочку у подъезда. - На войне умирают молодые. Это закон. Несправедливый, дурацкий, жестокий, но закон. Не мы его придумали - мы под него попали. - Он помолчал, достал папиросу, но курить не стал, только помял её в пальцах и убрал обратно. - Запомни его лицо. Имя. По-

зывной. Запиши в свой блокнот. Потом, когда война кончится или когда-нибудь, может, родным расскажешь. Не сейчас - потом. Сейчас они не поймут. А потом - поймут.

Иван полез в карман разгрузки, достал маленький блокнот - в клеёнчатой обложке, купленный в Калининграде перед отъездом, на последние деньги, которые мать дала на дорогу. Открыл на новой странице - чистой, белой, пахнущей типографской краской, - обмакнул дрожащую ручку в чернила, которых уже почти не осталось, и написал:

«Кременная. Лесополоса севернее опорного пункта. 27 октября. Ёжик. Ульяновск. 22 года. Убит при зачистке».

Он посмотрел на строчку - кривые, неровные буквы, которые плыли перед глазами, - и добавил ниже, мельче, как будто боялся, что кто-то прочитает:

«Не успел».

Закрыв блокнот, спрятал на грудь, рядом с крестом - на то самое место, где под рубашкой лежало и то, что грело, и то, что жгло, и то, что не давало забыть.

V

Ночью Иван не спал. Он лежал на спине, глядя в потолок - бетонные плиты, которые, давили на грудь всей своей тяжестью, - и слушал, как взвод затихает. Кто-то уже храпел, кто-то ворочался, кто-то тихо, по-детски всхлипывал во сне - может, Дима, может, тот новенький, которого привели вечером и имени которого Иван не запомнил.

Ему показалось, что он слышит голос Ёжика - тонкий,

мальчишеский, не успевший пройти мутацию, не успевший стать взрослым. «Мама», - шептал голос, и Иван закрывал глаза, и открывал, и затыкал уши - но голос не уходил, потому что он был не снаружи, он был внутри, засел где-то в самом дальнем углу сознания, откуда не выковырять никаким ножом.

Где-то за полночь, когда взвод уже затих окончательно и даже храп стал тише, Иван поднялся, накинул куртку и вышел на улицу. Луна висела низко, жёлтая, больная, с размытыми краями - такая луна бывает перед дождём или перед чем-то ещё, что хуже дождя. Поле впереди чернело воронками и трупами - своими и чужими, которые лежали там с утра, и никто их не убирал, потому что некому было, и не до них, и война - это не похороны, война - это когда убивают и оставляют лежать, чтобы другие видели и боялись.

Иван стоял и смотрел, и ему привиделось, что земля шевелится. Не от ветра - ветра почти не было, - а от тех, кто лежал в ней, кто вращался в ней, кто становился ею. И вот она шевелилась, как одеяло под которым кто-то ворочается, но не может проснуться, не может вылезти, не может позвать на помощь.

Он достал крест из-под рубашки, сжал в кулаке - металл был тёплым, живым, не ледяным, не обжигающим, а таким, как мамина рука, когда он болел в детстве и она сидела рядом и гладила его по голове, и ему становилось легче. И в этом тепле, в этом тихом, ровном дыхании древнего серебра ему

почудилось обещание: ты не забыл его. Мы не забудем тебя. Он не один. И ты не один.

Иван вернулся в подвал. Осторожно, чтобы не разбудить, перешагнул через чьи-то ноги, через разбросанные магазины, через пустые банки из-под тушёнки. Лёг на спину, уставился в потолок, который в темноте казался чёрным, бесконечным, как война. Дима рядом всхлипывал во сне - видел, наверное, того же Ёжика, того же мальчишку с дробовиком, который так и не выстрелил ни разу.

- Спи, - сказал Иван, не зная, к кому обращается - к Диме, к себе, к тому, кого уже нет и не будет. - Завтра новый бой. И новые смерти.

Он закрыл глаза. Крест под рубашкой грел грудь - ровно, успокаивающе, как улыбка, как обещание, как надежда. И Иван думал: «Если жив тот, кого я ищу, он тоже где-то сейчас лежит и смотрит в потолок. Он тоже считает потери. Он тоже пишет в свой блокнот имена. И он тоже не спит ночами. Потому что война не спит никогда».

Война только начиналась. Первая смерть была за спиной, но она уже успела изменить всё - воздух, землю, небо, и самого Ивана, который только сегодня понял, что значит слово «не успел». И что оно будет преследовать его теперь всю жизнь.

ГЛАВА 8. Человечность

После гибели Ёжика взвод словно накрыло тяжёлым, свинцовым одеялом. Люди стали молчаливее, злее, и злость эта была не та, горячая, что выплёскивается в драке или маме, а глухая, подспудная, которая копится в душе, как вода в затопленном подвале, - не видно, но чувствуешь, как прибывает. Даже Дима, обычно болтливый и жизнерадостный, теперь только хмурился и курил - одну за одной, нервно, жадно, хотя Иван каждый раз отходил подальше, чтобы не дышать дымом, и Дима, заметив это, старался курить с подветренной стороны, но всё равно дым тянуло, и они оба делали вид, что ничего не происходит.

Хмурый и вовсе перестал разговаривать. Не то чтобы он был раньше говорлив - нет, Хмурый никогда не страдал многословием, но теперь его молчание стало тяжёлым, как бетонная плита. Он только иногда бросал короткие, рубленые фразы: «Есть», «Понял», «Иди туда», и в этих трёх словах умещалось больше, чем в иных многочасовых речах. Иван заметил, что Хмурый теперь каждое утро, ещё до подъёма, доставал из-за пазухи потёртую иконку Спаса Нерукотворного, долго смотрел на неё, шевелил губами, потом прятал обратно и, не глядя ни на кого, начинал чистить автомат.

Луч стал ещё суше, ещё жёстче - если это вообще было возможно. Он целыми днями лежал на крыше развалин с винтовкой, высматривая цели, и спускался вниз только затемно, молча ел сухпай, не глядя по сторонам, и ложился спать, не снимая броника. Однажды Иван спросил его:

- Ты чего, Луч? Не спишь?

- Сплю, - ответил Луч, не поворачивая головы. - Только не так, как вы. Я сплю с открытыми глазами. Так меня учили.

- В Воронеже?

- В Воронеже, - Луч усмехнулся краешком губ, но тут же спрятал улыбку. - И в других местах. Которые ты не знаешь и не узнаешь.

Иван не стал спрашивать. Война - она не любит вопросов. Любит - приказы.

Скворец сменил тактику. Теперь он не бросал взвод в лобовые атаки, не рисковал людьми без нужды, а отправлял в разведку маленькие группы - по два-три человека, на короткие вылазки, не дальше километра-двух. Надо было проверить соседние сёла, зачистить подвалы и погреба, куда мог забиться противник, спрятаться, переждать, ударить в спину. Работа - тихая, опасная, не героическая, но без неё нельзя.

Ивана и Диму определили в пару. Хмурый сказал коротко, даже не глядя на них, а как будто в пространство:

- Вы вдвоём - на южную окраину. Два дома, красный кирпич, полуразрушены. В подвалах могли остаться гражданские - или враг. Если кто живой - выводите. Если враг - пленных не брать, сразу зовите подмогу.

- Почему не брать? - спросил Дима, и в голосе его послышалось недоумение, смешанное со страхом.

- Потому что они нас не берут, - ответил Хмурый. И от-

вернулся, давая понять, что разговор окончен.

II

Они шли вдоль разбитой дороги, прижимаясь к остаткам забора - бетонные столбы, ржавая сетка, которая когда-то, в мирной жизни, огораживала чей-то огород, а теперь торчала в разные стороны, как остовы сгоревшего корабля. Иван впереди, Дима - чуть сзади, прикрывает. Так их учили: один смотрит вперёд, второй - по сторонам и назад. Вместе - легче выжить.

Утро было серым, промозглым, с мелким дождём, который набивался за шиворот и стекал по спине холодными ручьями, заставляя вздрагивать и ёжиться. Земля под ногами хлюпала, чавкала, как живая - каждый шаг отдавался чавканьем, будто кто-то огромный и спящий ворочался под грунтом, мешая им идти. Иван чувствовал её гул - ровный, усталый, без надрыва, без той тревожной вибрации, что бывает перед боем. Просто - гул. Как дыхание. Как пульс.

- Слышишь? - спросил он шёпотом, не оборачиваясь.

- Что? - Дима остановился, прислушался, повертел головой.

- Земля.

Дима помолчал, потопал ногой, присел на корточки, положил ладонь на мокрую грязь.

- Земля как земля, - сказал он, вставая и вытирая руку о штанину. - Мокрая. Тяжёлая. И всё.

Иван не стал объяснять. Дима ещё не дорос до того, что-

бы слышать то, что слышал он. Может, никогда не дорос бы - и это было бы даже хорошо. Потому что слышать землю - значит понимать, что под тобой лежат тысячи, миллионы людей, которые когда-то ходили по этой же земле, пахали её, сеяли, сражались на ней, умирали, и боль их не ушла, не растворилась, а осталась здесь, в глине, в песке, в чернозёме, и каждое прикосновение к этой земле отзывается в тебе чужой болью. Не каждому это под силу.

Первый дом был сложен из тёмно-красного, почти чёрного кирпича - того самого, старого, довоенного, с клеймами, которые невозможно разобрать. Крыша провалилась, окна выбиты, на подоконниках - осколки стёкол, похожие на окаменевшие слёзы. Иван заглянул внутрь: пусто, только старый диван, перевернутый вверх ножками, с торчащими пружинами, да осколки посуды на полу, белые, с голубой каёмкой - когда-то, наверное, был сервиз, чайный, с чашками и блюдцами, по которому пили чай по вечерам, когда ещё был мир.

- Подвал где? - спросил Дима, оглядываясь.

- Во дворе, наверное, - ответил Иван, обходя дом. - У них тут погребка во дворах, не в домах.

Люк нашёлся, как и предполагалось, за домом, под старой, покосившейся яблоней, которая давно уже не плодоносила. Иван приподнял доску - оттуда пахло холодом, плесенью, сырой землёй и - жильём. Мышами, что ли, или чем-то ещё, живым, тёплым, дышащим.

- Есть кто? - спросил он негромко, стараясь, чтобы голос

звучал спокойно, даже ласково - как с ребёнком говорят, когда он испугался и плачет в тёмной комнате.

Тишина. Только капли с яблони падали на доску, которую Иван держал в руках.

- Свои мы, - сказал он чуть громче. - Русские. Добровольцы. Выходите, не бойтесь.

Из темноты послышался шорох, потом тихий, старческий голос, дребезжащий, как жестяная банка, которую ветер катит по асфальту:

- А вы кто? Вы не обманете? Убьёте?

- Не убьём, - сказал Иван, и в голосе его была такая уверенность, что он сам удивился, откуда она взялась. - Я Иван. Береговой. Из Калининграда. Сварщик. А вы вылезайте, не бойтесь.

Люк открылся - медленно, со скрипом. На свет божий, который показался здесь, наверху, странно ярким после подвальной темноты, вылезла старуха - маленькая, сгорбленная, вся в чёрном, как монашка, как ворона, которая долго сидела в гнезде, нахохлившись, и наконец решила вылететь. За ней - двое детей, мальчик и девочка, лет пяти и семи, не больше. Глаза огромные, испуганные, смотрят на мир так, будто этот мир уже ударил их по лицу и они ждут второго удара. Молчат. Ни слова. Только смотрят.

- Одна я тут, - сказала старуха, выпрямившись с трудом, держась за поясницу. - Сын на фронте, ещё с первого года. Сноха в Луганске застряла, когда война началась, с тех пор

ни слуху ни духу. А эти - соседские. Родителей убило прямым попаданием, понимаешь? В огороде. Арбузы сажали. Лежат теперь в огороде, не похороненные даже.

Иван сглотнул. Крест под рубашкой стал тёплым - не горячим, а именно тёплым, как ладонь, которую прикладывают ко лбу, когда нет градусника.

- Понимаю, - сказал он. - Собирайтесь. Наши вон там, за развалинами, километра полтора. Дотемна надо уйти, пока тихо.

- А кормить нас чем? - спросила старуха, и в голосе её послышалась не просьба - горькая, вымученная усмешка. - Уже три дня - хлеб да вода. Хлеб кончился вчера. Осталась вода. И та мутная.

Иван не раздумывая отстегнул от разгрузки сухпай - тот самый, который мать собирала, который они с Димой делили на двоих, растягивая на три дня, - и протянул старухе. Дети уставились на пайку глазами, полными голодного блеска - такого голодного, что смотреть было больно. Как у волчат. Как у щенят, которых бросили на дороге.

- Держите, - сказал Иван. - Это на сегодня. Там, у наших, волонтеры будут, они помогут. Довезут до Луганска, а там - распределят.

Дима стоял рядом, хмурый, сжав автомат так, что костяшки побелели. Он отвёл Ивана в сторону - подальше от старухи и детей, - прошептал зло, сквозь зубы:

- Ты что делаешь, Береговой? Это ж наш паёк. На двое

суток. Если харчей не привезут, мы жрать будем что?

- А они три дня не ели, - ответил Иван, и в голосе его не было оправдания - была простая, как приклад, констатация факта. - Три дня, Дима. Дети. Пять и семь лет.

- Они - гражданские, - сказал Дима, и голос его дрогнул. - Мы - солдаты. Нас кормить должны. А их - волонтеры, МЧС, Красный Крест, кто угодно. Мы здесь, чтобы воевать, а не...

- Мы - люди, - перебил Иван. - Сначала люди, потом солдаты. Пошли дальше.

Он повернулся и пошёл, не оглядываясь. Дима постоял секунду, выругался сквозь зубы, но пошёл следом.

III

Второй дом стоял на отшибе, у самой лесополосы, где сосны и берёзы переплелись ветвями так, что не разобрать, где чьё. Кирпич тоже красный, но стены ещё держались - не рухнули, хотя крыша была пробита осколками в нескольких местах, и сквозь дыры виднелось серое, мокрое небо. Иван обошёл вокруг, заглянул в окна - никого. Только ветер гулял по пустым комнатам, поднимая с пола пыль и пепел.

- Подвал, наверное, под верандой, - сказал Дима, показывая на полуразрушенную пристройку с остатками крыльца. - Там люк, досками привален.

Иван подошёл, постучал прикладом по доскам - глухо, тяжело. Земля под ногами не гудела - молчала. Крест на груди лежал холодным, предупреждая: опасно, но не смертельно.

- Открывай, - сказал он Диме.

Они оттащили доски - тяжёлые, мокрые, с прилипшей к ним землёй. Иван посветил фонариком вниз. Лестница сгнила, ступенек почти не осталось - одни трухлявые обломки. Внизу, метрах в трёх, темнел бетонный пол, покрытый пылью, и в углу, у дальней стены, кто-то лежал, свернувшись калачиком, как спящий, но Иван знал - не спит.

- Я спущусь, - сказал он и, не дожидаясь ответа, начал спускаться по стенкам, держась за выступы кирпичной кладки, за торчащие куски арматуры. Вниз, в темноту, в холод, в запах плесени и - крови.

Он спрыгнул на бетонный пол, больно ударившись коленом о какую-то железяку, и сразу увидел. В углу, на старой куртке, расстеленной на полу, лежал человек. Сначала Иван принял его за своего - камуфляж, берцы, разгрузка, - но пригляделся: форма была другого образца, не российская, с выцветшими нашивками, которые он не узнал. А на рукаве, чуть выше локтя, болталась жёлто-голубая ленточка, примотанная изолентой.

Украинский солдат. Молодой, лет двадцати с небольшим, может, двадцати пяти - на таких лицах возраст пишется не годами, а войной. Лицо бледное, в грязи, в каких-то чёрных разводах, глаза закрыты. На правом боку - кровавое пятно, расплзающееся по ткани, по разгрузке, по куртке, которую он, наверное, даже не успел расстегнуть. Жив. Дышит тяжело, с присвистом, как старые часы с испорченным механизмом.

Иван замер. Сверху, из люка, свесился Дима, посветил фонариком, увидел - и выдохнул с таким ужасом, будто увидел привидение:

- Враг.

- Он ранен, - сказал Иван, и голос его был ровным, спокойным - таким спокойным, что Дима на минуту замолчал.

- А нам какое дело? - сказал Дима дрожащим голосом.

- Уходим, Береговой. Своих раненых полно - вытаскивать некого. А этого...

- Не уходим, - сказал Иван и опустился на колени перед раненым.

Украинец открыл глаза - мутные, ничего не понимающие, с огромными зрачками, которые судорожно расширились и сужались, пытаясь сфокусироваться на лице Ивана. Забормотал что-то по-украински, быстро, испуганно, как молитву, которую учил в детстве и вспомнил только сейчас, когда пришла смерть:

- Не стріляйте... Не стріляйте, будь ласка... У мене мама... У Львові...

- Не стреляю, - сказал Иван по-русски, медленно, отдельно, как говорят с иностранцами, которые плохо понимают язык, но хорошо понимают интонацию. - Я медик. Дай посмотрю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.